

ВСЕМИРНЫЕ

ОДЕССКІЯ НОВОСТИ

газета политическая, литературная, научная, общественная и коммерческая.

в мѣ "Уніонъ"
состоится

Концертъ Маріи Ивановны Долиной

Анонсъ

состоится

только

однѣ

Концертъ

известной артисткѣ

исполнитъ

въ залѣ Новой Биржи

въ этомъ номерѣ 6 страницъ

ГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 3 (51)

Август - сентябрь. 2003 год.

ИСЧЕЗЛИ...

...крики во дворах: "Паяем-починяе-е-м! Паяем-починяе-е-м!", "Точить ножи, точить ножи-и и ножницы-ы!", "Стекла вставляем, стекла вставляем-е-м!", "Стары вешши покупаем, стары вешши покупае-е-м!". Появился "Секонд хенд".

Исчезли биндюжники на подводах, извозчики на бричках, тачечники с тачками вокруг "Привоза" и у вокзала. Исчезли инвалидные "авто" — двухместные жестяные коробки на колесах и с мотором. Иногда они умудрялись даже подбирать отважных пассажиров. Исчезли 1-й и 23-й маршруты трамвая. С Дерибасовской исчезли троллейбусы. Исчез фуникулер, появились вместо него эскалаторы, но быстро увяли. Исчезли открытые пульмановские вагоны с узорными решетками.

С тротуаров исчезли дорожки из квадратных синих плит итальянской лавы и камешки "дикари" по их краям. Даже при сильных дождях вода уходила в почву и с тротуаров, и с булыжных мостовых. Появились выбоины на асфальте с "миргородскими" лужами, а зимой — стекленеющие ото льда паркетные клинкера.

Исчезли акации (правда, некоторые, как реликтовые, сохранились), в обилии появился тополиный пух.

Исчезли сначала дворные туалеты, а потом и грозные надписи мелом на воротах: "Во дворе туалета нет". Вместе с ними исчезли и горделивые доски на воротах "В нашем доме нет второгодников" и таблички "В парадных не трусить". Появляются кондоминиумы.

Исчезли шумные примусы, чадающие керогазы, грецы со слюдяными окошечками, угольные склады, лавки с керосином. "Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый" (Иосиф Бродский). В супермаркетах появились поленья для каминов. Исчезли формы с двойным дном для выпечки на примусах, из-за отверстия в центре напоминавшие большой бублик, — "Чудо".

Исчезли оцинкованные лохани, корыта, стиральные доски. "Будешь спать ты с доской, со стиральной, за машину, за его персональную" (Александр Галич).

Исчезли баня Исаковича и морские ванны на Десятой станции Фонтана. Появились бассейны и джакузи.

Исчезли патефоны, патефонные иголки и пластинки, исчезли радиолы. Из всех летних окон исчезли концерты по заявкам радиослушателей: "Друзья, люблю я Ленинские го-о-ры", неаполитанские песни в исполнении Михаила Александровича, "...нигде не найдешь другой такой Челиты!" и незабвенная "О, голубка моя-а-а". Появились лазерные диски, DVD.

(Окончание на 2-й стр.)



Фото Сергея ГЕВЕЛЮКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С появлением эскимо на палочке исчезли мороженщики с тележками, которые жестом фокусника клали в формочку вафлю, сверху мороженое, прикрывали второй вафель, нажимали ручку формочки. Вы становились обладателем холодного сладкого счастья. Быстро таявшего.

Исчезли розово-белые трехугольные печенки "микадо". Исчезла зельтерская, а потом и будки с газированной водой — пожалуй, без сиропа (1 копейка), с сиропом, наконец, заветное — с двойным сиропом! "Тебе, девочка, с каким? Малиновым, вишневым, крошоном?" Хочется сразу со всеми.

Во дворах исчезли бочки с таинственно черневшей дождевой водой, с плавающими на ее поверхности осенними листьями. Исчезли выносимые на лето во двор кадки с олеандрами и фикусами.

Исчезли папиросы "Казбек" с вечно скачущим по коробке черным силуэтом всадника.

Исчезли французские булочки, фантомы, французский суп, обращение "мадам", пришли "мужчина!" и "женщина!".

Почти исчезло рабоче-крестьянское происхождение. Так много появилось дворян, что думаешь: кем же владели их предки? Наверное, друг другом. По количеству на квадратный километр с дворянами могут соперничать только академики.

Исчезли галоши, дамские ботинки на каблучках, серые суконные куртки "московка" с неприменной черной кокеткой, белые парусиновые туфли — вместе с зубным порошком, которым их чистили, заодно и зубы, чесучевые костюмы, драповые пальто с каракулевыми воротниками, шмуклеровские пуговицы, галстуки-"бабочки" на резинке, китайские штаны и рубашки "Дружба", знаменитые портные

и модистки. Исчезли духи "Красная Москва". Появились "Седьмой километр" и бутики, считающие, что предлагают "от кутюр". Исчезли на пляжах скалки (пойдем на массив или на скалки?), на скалках — ковры, которые носили на море, чтобы вымыть их голубой глиной — кило.

Исчезли лежащие часами под палящим солнцем отдыхающие, "от гребенки до ног" вымазанные кувальничкой грязью, предусмотрительно принесенной с собой в пол-литровых банках. А можно было купить эту грязь на пляже у разносчиков. Вместе с холодной

лись супермаркеты, в которых можно спросить удивленно у продавщицы: "Почему у вас сегодня нет рокфора?"; а она, стоя за витриной с десятками разных сыров, будет, извиняясь, вручать вам номер телефона с просьбой позвонить завтра. Завтра будет!

Исчезли два слона в книжном магазине на Ришельевской, о котором говорили: "Купил в двух слонах". Потом исчез и книжный магазин. Появились Интернет-кафе.

Исчезли макуха, американские "рационы" со жвачкой, па-

но, для остроты, появились синагоги, еврейские газеты, еврейские школы и детские сады, мемориальные доски Хаиму-Нахману Бялику и Владимиру (Зеву) Жаботинскому. Правда, исчезла улица Шолом-Алейхема, но вернулась "улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя".

Исчезла Привозная улица. Была и исчезла. Вместо нее появились паркинг, новые корпуса "Привоза".

Исчезли авоськи, торбы. Появились кейсы, кофры, ноутбуки. И "кравчучки".

Исчезли голландские печи, появились АГВ, теперь вновь появились каминны.

Исчезла китобойная флотилия "Слава". С нею исчезли "бобочки" на молниях и лиловые брюки китобоев. А потом и магазины для китобоев.

Исчезли объявления по громкоговорителю об отходе катеров к 16-й станции через Ланжерон, Аркадию, 10-ю станцию Большого Фонтана.

Исчезли путешествия по Крымско-Кавказской: до Ялты, до Сухуми и совсем далекие до — Батуми. Теперь ближе стали Анталья, Кипр, Канары, Таиланд, а то и Багамы, остров Барбадос. Незаметно исчезли знаменитые капитаны, под шумок исчез весь пассажирский флот, "белые мачты на рейде", вместо которых маячит перед глазами гостиница "Одесса" (не путать с "Одессой", которая вновь стала "Лондонской"). Словно съехавшийся на ее фоне, смотрит печально Дюк.

Все, вскользь здесь упомянутое, исчезло и появилось на моих глазах за полвека. А Дюк? На его памяти и не то еще исчезало. Что исчезнет и появится еще перед ним в его обреченной на века, как и сама Одесса, бронзовой жизни?

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ.

ИСЧЕЗЛИ...

водой из чайников, рачками, круто посоленной пшенкой. Петушками на палочках.

Исчезли кинотеатры XX-летия РККА (потом "Украина"), имени Короленко, Ворошилова (потом "Зірка"), летние кинотеатры. В них появились автосалоны.

Исчезли танцплощадки в парках. Появились ночные клубы, дискотеки. На смену "Ивану Бровкину на целине" пришел "Терминатор".

Исчез бар "Красной", где обитала вся одесская богема, кафе "У тети Ути" (вывеске — не верить!), "Чекистская минутка", ресторан на старом морвокзале. И сам старый морвокзал.

Появились респектабельные рестораны с вышколенными официантами, к которым уже не нужно обращаться с просьбой: "Лучше не доливайте, но не разбавляйте!"; с умопомрачительными меню, соблазнительными картами вин. Появляются, как первые ласточки, сомелье.

Исчезли "мокрая" колбаса "ветчинно-рубленая" и плавленый сырок "Волна". Вместе с ними исчезли очереди. Появи-

кетиками растворимого кофе, сосисками в плоских консервных коробочках. Исчезли маялки, цурики, "кины", игра в "штан-дер", школьные булочки по 3 копейки, перо "86", ручки-вставочки, чернильницы-невывайки в мешочках. Появились калькуляторы. Знание таблицы умножения вызывает у продавцов удивление и подозрительность.

Почти исчезли школы, зато появились гимназии и лицеи; о появлении классных дам и умениях делать книксен пока не слышно.

Сначала исчезли районы Воднотранспортный, Сталинский, Кагановичский, вместо них появились соответственно Центральный, Жовтневый, Приморский. Очень долго держались Ленинский и Ильичевский, но и они, наконец, исчезли, прихватив с собой за компанию и Жовтневый.

Почти исчезли евреи. Но вновь появилась улица Еврейская (чтобы жизнь сладкой не показалась, рядом с ней выскочил, как на носу майора Ковалева, переулок Шухевича. Очевид-

можно, это были ваши родственники...

Переписка Катчаки с генеалогической службой Госархива продолжается. Катчаки переслали фотографии дома Дубинина (1890 г. и современная, 2003 г.), а также фотография Авчинниковского переулка (пер. Нещипуренко) 2003 г.

От Катчаки:

Как грустно узнать, что на месте, где продавался отборный гастрономический товар моего прадеда, сейчас (прогресс?) расположились американцы, продающие свои фаянзовые товары низшего сорта! Интересно, что McDonald's и в моем родном городе, Белграде, опоганил своим присутствием один красивый старший особняк в сердце города!

"Одно" "корфуотско-одесское" прибавление: не знаю, известно ли клубу, что одесский городской голова, тайный советник Григорий Григорьевич Маразли основал и востроил здесь, на Корфу, один сиротский приют?

Кстати, пережили ли мои предки сталинские репрессии?

Из ответа архива:

Что касается вопроса, пережили ли Дубинины репрессии, то могу ответить, что есть книга, изданная правозащитным обществом "Мемориал", с фамилиями всех репрессированных в Одессе и области (более 36 тысяч). Среди них — Дубинина Анастасия Даниловна 1910 года рождения, приговорена была к 5-летней ссылке. Дела — в архиве Службы безопасности Одесской области (Одесса, ул. Еврейская, 43). Вы можете обратиться туда лично, воз-

Уважаемые господа!

На днях нашел ваш адрес odessitclub (я сам рожден не в Одессе, а в Белграде в 1939 г., сейчас живу в Голландии) и спешу попросить вашей помощи в следующем.

Мой отец, дед (Котчаки, писались и как Косаки, Катчаки — русские греки) и еще два поколения моих русских предков (Авчинниковы, чьим именем, насколько мне известно, еще называется один переулок в Одессе, и Дубинины) — одесситы.

Прощу, если это вас не слишком затрудняет, помочь мне в следующем.

Остались ли в архивах Одессы какие-нибудь следы фамилий "А.К. Дубинин", чьим владельцем был мой прадед (отец моей бабушки) Варфоломей Антонович Дубинин. У них был дом с магазином

на углу Дерибасовской улицы и Красного переулка. Если что-нибудь сохранилось, мне очень хотелось бы раздобыть фотокопии.

У В.А. Дубинина было четверо детей: две дочери (одна из них — моя бабушка, о них мне все известно) и двое сыновей. Вопрос: живы ли потомки сыновей?

Катчаки были помещиками в окрестностях Очакова. Мой прадед Константин Георгиевич Катчаки был женат на А. (Александре?) Авчинниковой.

Вопрос: есть ли в Одессе какие-нибудь архивные данные, касающиеся дворянских дел?

Заранее благодарю.

И.Н. Катчаки.

Всемирный клуб одесситов обратился за помощью в Одесский областной архив. А г-н Катчаки сообщил новые сведения:

Семеновна Михеева, жительница Одессы. Помогите мне, пожалуйста, найти сведения о ее судьбе. Подтверждение того, что во время войны она жила в Одессе, нужно также для увековечения памяти о ней в институте "Яд-Вашем" в Израиле. Я подала туда просьбу об этом, и они послали запрос в Одесский архив, но получили ответ, что там ничего о такой женщине неизвестно. Анна Семеновна Михеева жила во время войны в Одессе, на улице Гоголя, в доме № 9 или 11 (точно не помню, мне тогда было 12 лет). Я жила у нее с осени 1942 г. до освобождения Одессы в апреле 1944 года. После этого мы с матерью уехали в Винницу, где жили до войны. Вскоре до нас дошли слухи о том, что Анна Семеновна была арестована. Буду вам очень признательна, если вы поможете мне узнать о ее судьбе и сохранить память об этой смелой и благородной женщине, которая во время войны помогла не только мне.

С уважением —

Майя Ракишова.

В списке репрессированных по политическим мотивам и реабилитированных в Одесской области лиц значится Михеева (а не Михеева,

возможно, в документах ошибка) Анастасия Семеновна (6 лет исправительно-трудовых лагерей), дело хранится в архиве Службы безопасности. Возможно, это та женщина, которую Вы разыскиваете. Там же дела на Михеева Власа Андриановича и Михеева Дмитрия Федоровича, эти документы помогут прояснить вопрос.

Я бы еще посоветовала обратиться в средства массовой информации... Могу дать Вам информацию из телефонного справочника Одессы по Михеевым.

Из ответа сотрудницы Госархива Одесской области.

STARAYA ODESSA!

Spacibo za sozдание odessitclub!!!
Nadeus, chto vse odessity mira tut soedenyatsa!!!

Privet is LA.

Vika.

JCQ 250004702

ИЩУ АКАЦИЮ!!!

В сентябре у меня будет первый внук! Кто не рожал внуков, вряд ли меня поймет...

В честь его рождения хочу посадить одесскую акацию. Прощу помочь в приобретении, поскольку в "Нюрке" нет одесского "малка"...

Яков Нахошкин.

Здравствуйте. Спасибо вам за сайт. Мне он очень понравился.

У меня такой вопрос: почему нет никакой информации об авторах? Меня интересуют 2 человека: Алексей Коциевский и Николай Крылов. Если у кого-то есть информация о них или их координаты, пожалуйста, напишите мне.

С уважением,

Ольга.

asia5@mail.ru

Здравствуйте! Пока ваш сайт загружался (в течение нескольких минут), у меня возникало множество разных мыслей: какими он может быть. И я не ошибся. Он соответствует моему представлению об одесситах. Желаю вам, чтобы впечатления от вашего сайта всегда были такими же долгими и приятными, а время его загрузки на фоне этих впечатлений вообще не замечалось.

С уважением,

Юра.

http://u-too.narod.ru

t.yura@mail.ru,

JCQ 144729118

ВАШ САЙТ - ЧАСТИЧКА РОДНОЙ ОДЕССЫ!!!

Огромное спасибо вам, создатели сайта!!! Вы даже не представляете, как я вам благодарен. Я так давно не был в Одессе, что начал забывать ее, а так хочется вернуться и погулять по Дерибасовской, поваляться на пляже, вдохнуть южный морской воздух... ах, Одесса...

Ваш сайт сделал меня много ближе к Одессе: песни, новости, камера. Спасибо огромное еще раз!

Антон.

begemotina@mail15.com

Здравствуйте,

одесситы и одесситки!

Как приятно, будучи в Москве, периодически заходить на ваш сайт и хотя бы посредственно его заряжаться одесской энергетикой. Я тебя безумно люблю, Одесса, и скучаю "3А" тобой. Одесситы, живущие в Москве и нищие одесского колорита, общения, откликнитесь! Буду рада ответить на ваши письма.

Татьяна.

tbelous@audi-rublevka.ru

CONGRATULATIONS!

Искренне рад поздравить с очередной победой вашего сайта!

Без обращения к вам не прохожу ни один мой визит в Интернет.

Мечтаю лично зайти к вам при следующем приезде в Одессу.

Очень приятно было воочию увидеть авторов такого замечательного сайта.

Кстати, а может быть, вы знаете адрес московского клуба одесситов?

Когда-то о нем писали.

Искренне вам, И. Левитан.

igmarfel@mtu-net.ru

МОЯ НЕЗАБЫВАЕМАЯ ШКОЛА № 10. 1937 г.

1 сентября 1936 года мы переступили порог нового четырехэтажного здания школы, построенной среди зелени большого сквера, занимающего целый квартал между улицами Мастерской и Мечникова (Внешней). Материалом для строительства послужил местный, одесский, камень-ракушечник разрушенной Петропавловской церкви.

Она была сооружена в 1839 году, как указано на 394 странице книги "Столетие Одессы" (издание Округного общественного управления, одесская типография А. Шульца, ул. Ланжероновская, дом Карузо, № 36, 1895 г.).

Здание церкви, выдержанное в классическом стиле, с дорическими портиками и в высшей степени удачным пропорциям было в числе лучших церковных строений города.

Мы, юнцы, радовались новой школе, ее просторным и светлым классным комнатам, не задумываясь и не осознавая, к какому чудовищному моральному падению людей приведет в конечном счете это массовое, по всей стране, безжалостное закрытие и варварское разрушение церквей, синагог, кенас и других молитвенных заведений.

До сооружения новой наша школа размещалась в двух флигелях дореволюционной постройки в Староконном переулке, 9. Это были добротные трехэтажные здания, одно из которых — главное — выходило на фасад переулка и было украшением его, а другое — располагалось в глубине большого двора. Лестницы в зданиях были мраморными, классы — с высокими потолками и большими окнами. Здания стали очень тесными для увеличившегося контингента учащихся. К слову, они и теперь еще служат народному просвещению.

В школе кипела юношеская жизнь. Работала гимнастическая секция, юные спортсмены принимали участие в районных и городских состязаниях, занимая классные места.

Новая школа была тоже хорошей, со светлыми и большими классами. Перемены можно было проводить на воздухе — среди зелени акаций и кленов, окружающих школу.

Школа была укомплектована замечательными педагогами. Они не только обладали обстоятельным знанием своих предметов, умением преподавать, но и хорошо знали нас всех по имени и фамилии, а также были знакомы со многими родителями учеников.

Даже спустя много десятков лет я не могу хоть кого-нибудь из них помянуть недобрым словом и благоговейно перед памятью о них.

Самуил Давидович Гольдфедер — директор школы, преподаватель русского языка и литературы. Всегда спокойный, выдержанный, уравновешенный. Строгий и добрый. Мы не слышали, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Высокий, широкоплечий, с большой залысиной на лбу и усами.

Школьный хор и домровый оркестр неоднократно выступали не только на школьных вечерах, но и по городскому радио. Вступительное слово в радиодетстве всегда произносил директор. Речь свою он обычно заканчивал словами: "Все свои силы и знания мы отдадим на благо нашей любимой Родины, а если потребуются, то и свою жизнь". Самуил Давидович погиб в первые же месяцы войны — при обороне Одессы.

Надежда Михайловна Горская — завуч и преподаватель истории.

Борис Иванович Галащук — наш классный руководитель, преподаватель украинского языка. Невысокий, плотненький наш "пупсик" и милый "Бориванчик". Когда он впервые задал нам выучить наизусть целый листик из "Интермеццо" М. Коцюбинского, нашему возмущению не было предела.

— Как это — учить наизусть прозу? — недоумевали мы.

Но он очень просто и быстро охладил наш пыл.

— А как же артисты выучивают свои большие роли прозой? — парировал он. — А если кто-то из вас станет артистом, как вы будете учить свои роли?

Его доводы развеяли наше недоумение. На следующем уроке каждый из нас бойко декламировал: "Ідуть дощі, холодні осінні тумани клубочаться вгорі й спускають на землю мокрі коси" (прошло уже много десятков лет, а пишу это по памяти).

После нашего выпуска Борис Иванович стал преподавателем Одесского университета.

Михаил Исаевич Максимчук — математик, сумевший привить такие интерес и любовь к своему предмету (казалось бы, такому сухому!), что большая группа учащихся решала задачи по алгебре, геометрии и тригонометрии не только заданные на дом, а все подряд.

Татьяна Алексеевна Дятлова — "география", добрая, высокоинтеллигентная учительница, благодаря которой мы уже тогда "побывали" на всех континентах Земли.

Лидия Казимировна Горохович — наша "химичка" и "биологичка". Высокая, стройная, с правильными, приятными чертами лица, симпатия всех учеников, особенно хлопцев, и, вероятно, учителей.

Александр Григорьевич Брахман — физик. Он умел подтверждать законы физики демонстрацией приборов не только фабричного изготовления, но и сделанных своими руками.

В любительской фотолaborатории занимались под его руководством члены фотокружка. Он был хорошим товарищем школьников во внеурочное время, и неудивительно, что его любили, ватага мальчишек всегда сопровождала его. Вместе с учительницей химии он создал прекрасный физико-химический кабинет.

Лидия Александровна Пфингстен — "немка" не только по предмету преподавания, но и по национальности. На ее уроках были тишина и активность учеников. Статная, интересная женщина, прекрасный преподаватель. Строгая, даже несколько педантичная, но в то же время — добрая. Учительница высочайшего класса. Она — автор нескольких учеников немецкого языка. Ее любили.

...В первый день нашего последнего учебного года в класс вошел директор вместе с низеньким пожилым мужчиной и представил его нам:

— Ваш новый учитель русского языка и литературы — Алексей Дмитриевич Щербина.

Новый учитель не был похож ни на одного из наших учителей. Низенький, с небольшой седой бородкой и усами, он напоминал нам старого, дореволюционного учителя, каких мы видели в кино. Он был старше всех наших учителей, и это нас настораживало.

Говорил он настолько тихо и спокойно, непривычно для нас, что было бы слышно, как жужжит муха, если бы только она была в классе. Но речь педагога была настолько увлекательна, что мы сидели и слушали, как завороченные.

Он был лучшим методистом города и преподавателем Одесского государственного университета. Первые несколько уроков Алексей Дмитриевич всецело посвятил А.С. Пушкину, творчество которого знал почти все наизусть, замечательно декламировал стихи и удивительно, что привил нам любовь к поэзии вообще и к пушкинской — особенно.

Талантливейший преподаватель, он обязал нас завести общие тетради, в которые необходимо было выписывать все, что понравится в прочитанных книгах. При этом он оговаривал одно обязательное правило — при списывании не допускать ни одной ошибки. В изучении грамотности, — добавил он, — на ошибках не учатся!

В том учебном году исполнилось 100 лет со дня смерти А.С. Пушкина, и Алексей Дмитриевич организовал большой торжественный ве-

чер памяти великого поэта. Многие учащиеся выступали с чтением произведений поэта. Ученик Николай Павлюк с чувством читал свое стихотворение, написанное к юбилею поэта, "У портрета А.С. Пушкина":

*Ты погиб тридцати семи лет
От руки иностранца-Дантеса...*

Мне же досталось стихотворение "К Чаадаеву". Листок, на котором было написано рукой Алексея Дмитриевича это произведение, сохранен мною до сих пор — как добрая память об учителе.

Знакомясь с архивными материалами, старыми справочниками, мне удалось обнаружить много интересного о церкви, на месте которой построена наша школа. Например, в "Трудах Одесского статистического комитета за 1870 год, выпуск III и IV" я вычитал, что "Петропавловская единоверческая церковь (на Молдаванке) построена в 1828 — 1829 годах", а не в 1839-м, как указано в упомянутой выше книге "Столетие Одессы").

Как бы то ни было с датой постройки, но ко времени разрушения церковь простояла сто лет и была в прекрасном состоянии.

Я узнал также, что до революции в здании по Староконному переулку, 9, где я учился в школе № 10, находилась школа № 86.

Из других источников узнал много ранее мне неизвестного и интересного о своем учителе, Алексее Дмитриевиче Щербине. Узнал, что он был на службе в учебных заведениях Одесского учебного округа с 1902 года. С этого же года по 1918-й работал преподавателем русского языка в 4-й гимназии, находившейся на улице Пушкинской, 9. В 1910 году А.Д. Щербина получил чин коллежского секретаря. В 1912 году был назначен историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете, находившегося на улице Дегтярной, 17.

Все наши учителя были мастерами своего дела, и это сказалось на результатах их работы — все выпускники, которые сдавали вступительные экзамены в высшие учебные заведения, стали студентами, а впоследствии — прекрасными специалистами-инженерами, учеными.

Шура Студзинская, получившая золотую медаль, окончила университет и стала химиком.

Николай Гулевич, любитель истории еще со школьной скамьи, окончил исторический факультет, защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом педагогического института.

Лора Лаврова окончила институт водного транспорта и работала в конструкторском бюро.

Толя Губарь после окончания университета стал преподавателем русского языка и литературы, завучем одной из одесских школ.

Идочка Кристалл — эта маленькая, хрупкая девочка, написавшая в школьные годы сценарий, много лет преподавала в школе русский язык и литературу.

Женя Медведицкий и автор этих строк мечтали о дальних странствиях, хотели увидеть Тадж-Махал, Пизанскую башню, сказочную Венецию, египетские пирамиды... Юношеская романтика привела нас к получению специальности геодезиста. Первый из нас стал доцентом и завкафедрой геодезии Одесского строительного института, второй — производственным, инженером технических изысканий, изъездившим за четверть века почти весь Советский Союз, тем самым в какой-то мере реализовав свои юношеские мечты и убедившись: и на одной шестой части планеты столько красот и экзотики, что не хватит жизни, чтобы все увидеть. Последние почти четверть века мне довелось возглавлять отдел технических изысканий в своем же проектном институте. Немало юношеских мечтаний сбылось несколько позже...

В проектных институтах работали инженерами-конструкторами

Женя Томашевский и Виктор Дегтярев, инженером-проектировщиком работала Рива Ратинер.

Коля Павлюк, с детства писавший стихи, внушал нам уверенность, что будет поэтом. Но он стал ученым-филологом, кандидатом филологических наук, доцентом Одесского университета. Когда-то давно главный библиограф университетской библиотеки, Виктором Семеновичем Фельдман, "живая энциклопедия", сказал о рано ушедшем из жизни Николае Владимировиче Павлюке: "Это был настоящий ученый".

Сара Липсон параллельно с учебой в школе лучшие годы детства и юности отдавала игре на скрипке.

— Вот когда-нибудь, — говорила она мне, — ты увидишь на афишной тумбе и мое имя.

Но травма руки помешала ей осуществить свою мечту. В послевоенные годы Сара работала в одной из московских газет.

Маля (Мальвина) Швидлер стала Заслуженной артисткой Украины, работая в одном из киевских театров (недаром же Борис Иванович Галащук требовал учить наизусть прозу!).

Нельзя, однако, забывать, что мы росли и учились в очень тяжелые тридцатые годы, в сложное, трудное и страшное время. Среди нас не было богачей, все жили довольно скромно. Пережили голодовку времен коллективизации, и это не могло не сказаться на нашем здоровье.

Мы были слабыми и в школьные годы уже потеряли нескольких соучеников. В 8-м классе умер от порока сердца Коля Якубовский, в 9-м от туберкулеза — Сема Ройтман. От этой же болезни скончался ученик 10-го класса Алеша Мельничук. У него были задатки талантливого художника. Превозмогая болезнь, он трудился, спешил и все же успел закончить писать маслом копию картины Айвазовского "Пушкин у моря" и подарить ее школе. Он прожил совсем недолго после этого.

Страшный 1937 год коснулся и нашей школы.

Однажды после выходного дня на первом уроке вместе со звонком в классе неожиданно появился директор и объявил, что урок географии будет проводить он. После некоторой тяжелой паузы каким-то глухим голосом он сообщил, что вчера, в воскресенье, коллектив школы похоронил нашу учительницу географии Эмилию Григорьевну. Мы были в шоке. В голове не уместилась мысль, что нашей Эмилии Григорьевны уже нет. Рыдания девочек и волнение мальчиков не позволяли начать урок. Смерть учительницы была слишком неожиданна, непонятна, и мы все тяжело переживали эту утрату. Мы знали, что Эмилия Григорьевна — одесситка, но недавно вернулась в родной город из Киева, где прожила много лет.

Спустя несколько лет после окончания школы я встретился с племянником Эмилии Григорьевны, Милей Гансвиндом, в прошлом тоже учеником нашей школы, и кое-что узнал о причине ее смерти. Он рассказал, что муж Эмилии Григорьевны занимал очень высокое положение в столице Украины и был репрессирован. Одинокая, бездетная, она вернулась в город своих детства и юности, где у нее были родственники и друзья.

Репрессии, проводившиеся в Одессе, как и во всех местностях Союза, постоянно тревожили ее, она чувствовала, что и ее может постигнуть та же участь, что и мужа. Она сказала своей сестре, матери Мили: если к ней вдруг поступят ночью, а это значит, что пришли за ней, она покончит с собой. Так, по-видимому, и было. Она отравилась.

Не минула подобная горькая участь и семью нашего соученика Коли Рубана. Его отец, узник ГУЛАГА, тоже канул в небытие.

В июне 1937 года рано утром мы собрались в классе. Предстоял вы-

пускной экзамен по истории. Преподавал этот предмет молодой, очень симпатичный, эрудированный и остроумный учитель, Леонид Арсентьевич Домбровский. Мы были влюблены в него, особенно девочки. Его уроки были довольно напряженными. Помнится, что даже первая его лекция — "вводная" — не была с одним "в".

С подачей учебного материала он вполне укладывался в академический час. И не только укладывался, но всегда отводил в конце урока несколько минут, чтобы снять у нас напряжение и мы расслабились. Он задавал нам шарады, вопросы на отвлеченные темы не только по истории, но и по литературе. Мы его боготворили...

...Прозвенел звонок, извещающий о начале урока. Но экзаменатор и экзаменационная комиссия не появлялись. Минут через пятнадцать в класс вошел директор и предложил нам выйти из здания школы на воздух и погулять в садике. Позже нас позвонит, сказал он. Все это было необычно и непонятно.

Было прекрасное теплое, солнечное утро. Некоторые ученики разбрелись по садик, а небольшая группа ребят уселась на скамью в тени деревьев, и мы шумно о чем-то говорили. Мы были так увлечены разговором, что и не заметили, как около нас оказался милиционер. Он спросил, почему мы не в школе, и мы ответили, что задержался наш экзаменатор. Никогда раньше в сквере нашей школы не появлялась милиция, и вдруг...

Милиционер не уходил, продолжал стоять около нас. Кто-то из ребят, встав со скамьи, предложил ему сесть. Он охотно воспользовался предложением и продолжал свое присутствие в нашем обществе. Как, почему и зачем он оказался около нас, было непонятно.

У нашего соученика, Жеки Томашевского, был при себе фотоаппарат, и он сфотографировал нашу компанию вместе с "непрошеным гостем". Этот снимок сохранился у меня до сих пор. Прошло, вероятно, более двух часов, до тех пор пока нас позвали в класс. Экзаменатором был другой учитель.

Позже мы узнали, что наш любимец, Леонид Арсентьевич в ту ночь был арестован. Больше мы ничего о нем не узнали.

...Шел выпускной экзамен по украинскому языку. Я сидел уже за отдельным столом и готовился к экзамену. Третьим вопросом в экзаменационном билете было стихотворение Павла Тычины "Пісня трактористки".

Когда я был уже готов отвечать, неожиданно вошел в класс директор и представил нам наркома просвещения Украины Владимира Петровича Затонского. Его лицо было знакомо нам по портретам. Появление в классе наркома так взволновало меня, что злополучная "Пісня..." напрочь вылетела из головы, как я ни силился, не мог вспомнить ее начало. От волнения даже прокусил губу.

Но подошла моя очередь, и учитель пригласил меня к доске. Я пошел отвечать, так и не вспомнив стихотворения. Несмотря на волнение, я довольно бойко ответил на первых два вопроса, и тут вдруг в памяти воскресло это стихотворение, и я отчеканил его тоже хорошо:

*Дим-димок од машин,
Мов дівочі літа.
Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та.*

Нарком просвещения Украины Владимир Петрович Затонский был арестован и расстрелян годом позже.

Летяг годы, а за ними следом плывут воспоминания о дорогих ушедших школьных годах.

Павел ЦАУДЕР.
Сан-Франциско.

СЕМЕЙСТВО РАЛЛИ

В ПАЛИТРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СТАРОЙ ОДЕССЫ

Настоящий текст — прелюдия к монографии о семействе греческого происхождения Ралли (Раллис), обстоятельствах его бытования в Одессе на протяжении многих десятилетий, личном участии в становлении города как крупнейшего европейского хлебного экспортера, уникального культурного центра России, обретшего значимость в мировом масштабе.

Общеизвестно, что Одесса — единственный город европейского типа, состоявшийся в столь короткие по историческим меркам сроки. Город, которому от роду было лишь несколько десятилетий, почти официально именовали третьей столицей Российской империи, "Южной Пальмирой", "маленьким Парижем" и т. п. Слава младенца в череде европейских грандов с тысячелетней историей была столь велика уже в XIX столетии, что его с энтузиазмом посещали или даже заочно описывали выдающиеся исторические персонажи: Пушкин, Жуковский, Гоголь, Кларк, Стивенс, Оммер де Гелль, Марк Твен, Жюль Верн, Бальзак, Джойс, не говоря уже о Бабеле, Паустовском, Катаеве, Олеше, Багрицком и т. д. Большинство авторитетных вояжеров восторженно вопрошало: как такое могло случиться, почему на пустопорожном и крайне неудобном во многих отношениях месте (отсутствие надежных источников водоснабжения, природного топлива, строительных материалов; отдаленность от крупных производственных центров; открытая мелководная гавань, требующая огромных затрат на гидротехническое строительство; сложные инженерно-геологические условия и др.) в мгновение ока возник процветающий типично средиземноморский город-порт, имя которого знает весь мир?

Ответ на этот вопрос во многом растолкован видным американским историком Патрисией Херлихи в монографии "Odessa. A History 1794 — 1914". Метафорически ответ формулируется следующим образом: Одесса состоялась в результате меркантильного брака чернозема с Черным морем. То есть за счет морской торговли продуктами сельскохозяйственного производства, главным образом — хлеба. Отсюда следует, что будущим своим величием город обязан, в первую очередь, тем именно людям, которые создали надлежащую инфраструктуру хлебного экспорта, на собственной, можно сказать, шкуре апробировали этот механизм и успешно его запустили. Тут-то на арену и выходят одесские старожилы, пионеры зерновой торговли — преимущественно греческие предприниматели, переселившиеся в новостроящийся портовый город из материковой Греции и так называемого Архипелага (Ионических островов), а также и из других областей Леванта (Триест, Рагуза и др.).

Уже во времена правления в юной Одессе герцога де Ришелье (1803 — 1814) доля греческих негодантов (Зарифи, Инглези, Папудов, Синадино, Конис и др.) в экспортно-импортных операциях довольно значительна. В 1817 году общий капитал десяти ведущих греческих купцов (помимо перечисленных выше, это, например, семейства Маврос, Христодуло, Родоканакис, Маврокордато) оценивался в огромную по тем временам сумму — 10 млн. рублей. А всего лишь десять лет спустя четыре греческих одесских торговых дома — Иоаннопулоса, Маразли, Палеолога и Серафино — считались наиболее крупными коммерческими институтами Российской империи.

Что касается семейства Ралли, то его представители постоянно проживали в Одессе и занимались торговыми операциями, по крайней мере, с 1814 года. В метрических книгах греческой Свято-Троицкой церкви в интервале между 1800-м и 1831-м годами фамилия Ралли (Рали, Рале) встречается 16 раз: 1814 г. — Иван и Федор, 1816 г. — Георгий, 1819 г. — Иван, 1820 г. — Иван и Юрги (Георгий), 1821 г. — Федор, Мария и Поликсена, 1822 г. — Лука, 1825 г. — Евстафий, 1828 г. — Иван, 1829 г. — Иван, Матвей, Джованни, 1831 г. — Джованни. Следует уточнить, что из числа метрических книг этого периода многие не сохранились: с 1801 по 1805, 1807, 1810, 1812, 1817 и 1827 годов. А потому некоторые важные даты (браки, рождения, кончины), относящиеся к биографии семейства, не могут быть вполне надежно зафиксированы.

По большому же счету, греческая коммерческая фирма братьев Ралли развернулась в эпоху правления южным регионом графом М.С. Воронцовым. Совершенно очевидно, что упоминающийся выше Джованни Ралли — это тот самый

Джон Ралли, который с 1832 по 1859 год был консулом Соединенных Штатов в Одессе. Он родился 3 ноября 1785 года на острове Хиос в семье купца Стефана Ралли (1755 — 1827). Его супруга, Люция (в Одессе ее называли Луизой), была итальянкой и родилась в Пизе ровно в год основания Одессы (1794). Венчались они в Одессе, однако, в один из тех годов, метрические записи по которым не сохранились. Но поскольку в 1821 году родился их единственный сын Стефан (это произошло в Лондоне), вероятно, брак был заключен в 1817-м. То есть упоминающийся с 1814 года в метрических записях Иван Ралли и Джон (Джованни) Ралли — это одно и то же лицо.

После смерти отца Джон Ралли (в Одессе его всегда называли Иваном, см., например, "Новороссийский календарь") оставил Лондон и вскоре окончательно перебрался в Одессу, к братьям. Оборот одесской компании Ралли в 1826 году по экспорту и импорту составлял около 300 тысяч рублей, а в 1827-м снизился примерно вдвое. После того как эту фирму возглавил Иван Ралли, оборот неуклонно повышался. Так, в 1836 году он составил 4 миллиона 323 тысячи рублей! Ралли уступал по этому показателю, да и то немного, лишь крупнейшему в империи банкирскому дому "Людвиг Штиглиц и К". Ралли обошел таких солидных предпринимателей, как Кортацци, Родоканакис, Понцио, Порро, Папудов, Петрокино, Тработти, Инглези. А еще 10 лет спустя объем его торговли только зерном составил полтора миллиона рублей.

Итак, семейство Ралли — одна из тех основных коммерческих структур, которые стремительно создали Одессу фантастический престиж и как бы короновали на мировой хлебный экспорт. Как было сказано, технология экспортно-импортных операций предполагала формирование соответствующей инфраструктуры. Так в Одессе были созданы, а затем позитивно эволюционировали все необходимые институты: порт, карантин, мореходные и страховые компании, банкирские дома, биржа, коммерческий суд и даже средства массовой информации (так называемые "биржевые листки").

Внешний облик новостроящегося города также оформлялся "под себя", в соответствии с привычками и обычаями выходцев из стран Средиземноморья. Юная Одесса как бы группировалась вокруг нескольких обширных рыночных площадей, декорированных под античную агору. Так возникли ансамбли Александровской (Греческой), Херсонской (Новый базар) и Привозной площадей, представлявшие собой сплошные аркадные галереи с колоннами ионического и дорического ордера. Таковы были и первые дома Ралли, Инглези, Маразли, Велисарио, Амвросио, Цикалиоти, Кехрибаржи и других греческих негодантов, окаймлявшие Греческую площадь. Историко-археологические исследования, проведенные в последние годы в ходе реконструкции этой площади, выявили огромное число принадлежавших греческим семьям предметов материальной культуры конца XVIII — первой половины XIX столетия и позволяют во всех деталях воссоздать обстановку тогдашнего быта — как домашнего, так и торгового, общественного. Таким образом, оказывается, что и специфический облик Одессы также сложился в соответствии с пожеланиями и устремлениями ведущих хлебных экспортеров, в том числе Ралли.

Семейство Ралли — одно из тех, что формировали также и стилистику взаимоотношений горожан во всех жанрах. Известно, например, что "общество" старой Одессы было довольно замкнутым, то есть разобщенным — в первую очередь, по этническому признаку. Ралли же, по свидетельству авторитетных мемуаристов, жили открыто и принимали многочисленных гостей, невзирая на вероисповедание. Наряду с семьями Эдлинг-Стурдза, Маразли, Родоканакис, Маврокордато и др. Ралли — одни из зачинателей городского движения благотворительности и милосердия. Так, супруга Ивана Ралли, Луиза Михайловна, уже в 1830-е годы состояла действительным членом первого в Одессе благотвори-

тельного предприятия — Женского общества призрения бедных. Примеры подобного рода можно умножить.

Братья Ралли, по сути, владели собственным парусным флотом. Судя эти бороздили моря, как тогда водилось, под разными стягами, не обязательно российским, а экипажи состояли в основном из греков, итальянцев и южных славян. В 1828 году в Николаеве сошел со ступеней первый пароход, "Одесса", а в 1833-м для налаживания регулярного морского сообщения со Стамбулом, Крымом и Кавказом было учреждено Черноморское акционерное общество пароходов, фактическими хозяевами которого были Штиглиц, Ралли и Папудов. В 1840-е годы пароходы этого общества встречались в Стамбуле с пароходами Ллойда и других зарубежных компаний и обменивались грузами, следовавшими из Марселя, Генуи, Ливорно, Неаполя, Триеста, с острова Мальта, из портов Греции и Турции. Роль фирмы Ралли здесь чрезвычайно велика, в том числе — в организации заказов по изготовлению новых пароходов в Англии.

Дипломатическая служба Ивана (Джона) Ралли могла бы послужить темой отдельного исследования. Здесь заметим только, что многие предложенные им американскому правительству проекты были и прозорливы, и результативны. Так, Ралли высоко оценивал торговые возможности американских судов на Черном море и убедительно доказывал, какие выгоды сулит непосредственная доставка американских товаров в Россию. В противном же случае наживается тот, кто занимается реэкспортом. В период Крымской войны Ралли советовал американцам увеличить зерновые поставки в Европу, поскольку российское руководство опротивело запрету вывоза хлеба. Пользовавшийся отменной репутацией, Иван Ралли оставался на посту консула до самой своей смерти в 1859 году. Тот год мистически завершал целую эпоху: в Одессе было ликвидировано порто-франко.

Единственный сын Ивана Ралли, Степан (Стефан, Стефен), родился в 1821 году в Лондоне. Степан Иванович широко известен как один из самых авторитетных гласных Городской Думы "эпохи реформации", то есть введения в действие нового устава, "Городового Положения" 1863 года. Подобно сыновьям Маразли и Родоканакиса, он был представителем новой генерации одесситов, так сказать, "элитарных детей", людей куда более светских, нежели их отцы, придерживавшиеся в быту патриархальных нравов. Как один из "семнадцати почетнейших граждан Одессы", С.И. Ралли был кооптирован в состав Комиссии по введению нового городского устава, а затем стал не просто гласным Думы, но старшиной купеческого разряда, то есть как бы председателем самой влиятельной фракции. Таким образом, семейство Ралли ярко проявило себя и на таком значимом общественном поприще, каковым было городское самоуправление.

Другая яркая страница социальной биографии С.И. Ралли — его неоценимое участие в возникновении, становлении и развитии Одесского общества покровительства животным, открывшего свои действия 21 декабря 1863 года. Дело не в том, что Ралли много лет председательствовал в этом Обществе. Ему принадлежит идея создания одной из первых в России лечебниц для животных. Идея эта была осуществлена, причем на его же собственные деньги. Лечебница включала в себя административное здание с приемной и аптекой, двухэтажный дом для хирургического отделения и отделения по внутренним болезням, а также амбулаторию и помещение для крупных животных, отделение "заразных и кожных больных собак, кошек и других мелких животных", коюшню и т. д. Многолетнее бескорыстное это служение окончилось весьма печально для Ралли. Дело в том, что на своей даче на Большом Фонтане он содержал гигантский собачий питомник, где обитали псы чуть ли не всех известных тогда пород. По трагическому стечению обстоятельств псы из этого числа растерзали одного из служителей. История получила огласку: у служителя остались сиротами малолетние дети. Ралли назначил ренту вдове и детям, оплатил все расходы, связанные с погребением, а потом попросил освободить его от обязанностей председателя означенного Общества, поскольку, как он объявил, в создавшейся ситуации не считает возможным оставаться на данном посту. Сторонники Ралли устроили

подлинную манифестацию в его поддержку у стен дачи, но он был непреклонен в своем решении.

А теперь вернемся к теме предпринимательской деятельности семейства Ралли и, скажем так, вписанности его в историко-культурологический контекст Одессы. Ликвидация системы порто-франко — торжество протекционистской политики российского правительства. Негативно влияла на состояние дел фирмы Ралли также наметившаяся специализация, дифференциация бизнеса. Хлебный экспорт становился совершенно обособленным. Ралли же занимались не только зерном, но и многими другими товарами. Поэтому после отмены порто-франко многие крупные греческие коммерсанты покинули Одессу и обосновались в более благоприятных для их деятельности местах. После Крымской кампании Одесса навсегда утратила корону ведущего хлебного экспортера (в середине 1850-х она не удовлетворила спрос традиционных европейских партнеров), на мировую арену вышли, наконец, Канада, США, Аргентина и т. д.: скорость судов увеличилась, и Америка как бы приблизилась к Европе, а вывоз зерна сменился вывозом муки, более компактно укладывавшейся в трюмах. В Одессе же почти не было паровых мукомолов, да и качество самого зерна оставалось желать лучшего. В этих условиях подразделения семейства Ралли сместили акценты коммерческих пристратий. Так, в 1860-е годы одной из основных статей их бизнеса становится хлопок. Имея свои отделения в Марселе, Манчестере, Лондоне и Одессе, а позднее — в Калькутте, Бомбее и Нью-Йорке, они начали экспортировать хлопок в Германию и США. И впоследствии их в значительной степени привлекал текстиль.

В середине XIX века, еще при жизни Ивана Ралли, семейство начинает далеко-виднo вкладывать значительные средства в одесскую недвижимость, непрерывно дорожающую. По ведомости полупроцентного сбора с домовладельцев в доход города на 1848 год, Ралли принадлежат ряд зданий и сооружений в самой престижной части города: два дома и четыре магазина на Итальянской улице общей стоимостью 42248 руб., старый патриархальный домик на Греческом базаре (3860 руб.), большой дом на Греческой улице (21500 руб.), дача и флигель на Большом Фонтане (4571 руб.), да еще мелкие магазины на Преображенской и Большой Арнаутской улицах. К концу третьей четверти XIX столетия собственность семьи многажды увеличивается. Ралли владеют лучшими из лучших домостроений: на Николаевском бульваре (гостиница "Лондонская"), Дерибасовской, Ришельевской, Итальянской, Троицкой, Преображенской улицах, Александровской площади, в Театральном переулке и т. д. Позднее Ралли покупают старый дом Портнова на углу Дерибасовской и Ришельевской и возводят на его месте новый, в стиле модерн (старожилы до сих пор именуют его "домом Ралли"), строят дом в аристократическом Сабанском переулке, выкупают знаменитый "круглый дом" в центре Греческой площади и т. д. Стоимость этого имущества составляла первые проценты от стоимости всех частных строений Одессы! Вот вам и формирование внешнего облика города в эпоху "детей", то есть прямых наследников тех средиземноморских купцов, которые закладывали основу благосостояния юной Одессы.

"Генерация внуков" — это выпускники Императорского Новороссийского (Одесского) университета — Петр и Павел Степановичи Ралли. Первый из них пошел по военной части, служил в императорской гвардии, а вот второй продолжил дело отца и деда: стал президентом Одесского вексельного банка, купил большие поместья в Подольской губернии, где внедрял передовые сельскохозяйственные технологии и устроил крупный сахарорафинадный завод. Одним из первых он ввел на своих предприятиях восьмичасовой рабочий день, основал клинику для своих рабочих, провел массу благотворительных мероприятий и акций, как и отец, отдавал много энергии Обществу покровительства животным. В Одессе Павла Ралли знали и уважали, уж хотя бы за то, что он неоднократно назначал стипендии неимущим, но даровитой молодежи. По данным П. Херлихи, эта ветвь семейства Ралли в Одессе зачала: у Павла не было сыновей.

Такова вкратце "одесская биография фамилии". Семейство Ралли, выражаясь высоким штилем, в прямом и переносном смысле не только вложило свою лепту в копилку общественного труда, но оставило, навсегда запечатлело самих себя в том феномене, каковой носит звучное имя Одессы.

Олег ГУБАРЬ.

ЛЕКЦИЯ НЕ ДЛЯ ХАНЖЕЙ

"Детям до 16 лет и ханжам вход не рекомендуется" — гласит надпись на афише нового театрального спектакля. Вывод напрашивается сам собой: речь идет о скандале сезона. Давненько не бывало чего-то подобного! Стало быть, скучать в зале не придется. Хотя название пьесы несколько напрягает: "Лекция о нравственности"... Но если детям вкупе с ханжами здесь делать нечего, значит, всем остальным смотреть можно. А кто же считает себя ханжой? И все же зрители, возмущенно покидавшие театр во время премьерного спектакля, таковыми мне показались.

Продюсерский центр Александра Жегалова рискнул представить на сцене Русского драматического театра имени А. Иванова комедию по роману французского писателя Сан-Антонио (настоящее имя — Фредерик Дара) "Правила поведения по Берюрье". Из детектива взята лишь одна сюжетная линия — размышления о жизни папаша Берю (полное имя — Александр Бенуа Берюрье), подкрепленные массой конкретных примеров. По части красноречия этот персонаж может соперничать с настоящими одесситами, настолько образно он выражается. К примеру, чем можно заменить американизм "заниматься любовью"? Вы не поверите: акт любви можно приравнять к игре в "Залезай наверх" или в "Семь ошибок газеты "Франс Суар", "Жаркие ночи Андалузии", "Не уезжай без меня", "Взятие Бастилии"... Когда во всем блеске красноречия на сцене появился сам Берюрье (молодого артиста Александра Суворова искусственно "сосотарили" при помощи грима и костюма с толщиной), зрители разделились на два лагеря. Первый с радостью смаковал очередную "кель выражанс", второй напряженно ждал неприличия и безобразия. И дождался! Мсье Берюрье, будучи весьма сведущим в воспитании детей (помимо прочих вопросов), воскликнул, указывая на наглядное пособие, медицинский скелет, наряженный в

кружевное белье: "Современные девки вызывают у меня стыд и жалость, граждане! Жопенка на двух ходулях, ляжки, как у паука!" А далее попросил присутствовавших в зале родителей молодых девиц пояснить последним, что мужчины ценят в них отнюдь не кости, а свежее аппетитное мясо, "преимущества в бюсте, округлости в трусишках и последовательность в подвязках". Вот тут то из зала и потянулись первые возмущенные услышанным зрители.

Однако была и благодарная зрительница, в антракте воскликнувшая: "Обязательно приведу на этот спектакль мою дочь!" Девочка уже замучила мать постоянным сидением на диетах... Вот вам и видимая польза, волшебная сила искусства. Что интересно: наша публика воспринимает происходящее на сцене, прежде всего, вербально, напряженно вслушивается в текст и только во вторую очередь возмущается манерами папаша Берю. Они у него, надо признать, оставляют желать лучшего. Так, свою лекцию о нравственности он ведет, попивая то и дело бокал да коньячок, при этом не замечая, что из расстегнутой ширинки брюк у него выглядывает... нет, не то, что вы подумали, а рубашка. Во Франции этот герой воспринимается как потомок Гаргантюа и Пантагрюэля благодаря своему жизнелюбию, по-



рой доходящему до брутальности. Перевод Геннадия Барсукова представляется очень удачным и колоритным. В предисловии к роману "Правила поведения по Берюрье" Робер Эскарпи пишет: "Есть люди, которые надевают на свой стиль презерватив, боясь, как бы чего не вышло. Сан-Антонио относится к тем, кто делает детей языком своих предков, незаконнорожденных, конечно, но бойких малых, которым я желаю острого глаза, быстрых рефлексов и нелегкой жизни".

Между прочим, на Западе буржуа делятся адресами кабаре, где актеры во время представления могут попросту выбранивать зрителей: ведь это повышает уровень адреналина в крови и даже не пахнет надоевшим лицемерием. Папаша Берю никаких выпадов в адрес зала себе не позволяет, его раздражает лишь лицемерие, он обезоруживающе откровенен. Жизнь слишком коротка, чтобы

проводить ее во лжи! К такому выводу пришел недавно режиссер спектакля Александр Жегалов, и Бог, что называется, послал ему драматургический материал для разговора со зрителем. Лектор здесь — второе "я" режиссера. А помогает лектору Берюрье некто Жан Уткин (Валерий Швеиц), услужливый ассистент, расставляющий по указке мэтра манекены, одетые от "Кашарель", изображающий в нужный момент аккордеониста, младенца, школьника и вообще любого, о ком пойдет речь. Есть у Берюрье свой идеал — графиня Трусаль дю Труссо (увы, Уткин опознает в ней содержательницу притонов). Эту даму играет Юлия Скарга, демонстрирующая как прекрасные манеры, так и удручающие.

Лекция проходит на фоне вешалок, заполненных пустыми оболочками — то целлофановыми футлярами от костюмов, то воздушными шариками. Живой, полнокровный, содержательный

здесь только Берюрье, но и он в финале скинет свою оболочку из грима, парика и нелепого костюма, окажется молодым и красивым жизнелюбом, душой, освободившейся от скорлупы. Режиссер Александр Жегалов, художник Григорий Фаер и артисты приглашают публику к диалогу, размышлению, сотворчеству. И скандал на этой почве возникает, на мой взгляд, необоснованно. Что бы сказали наши зрители, если бы им, как киевлянам, пришлось побывать на гастрольном спектакле московского театра "Эт цетера" "Король Убю" по Альфреду Жарри, где на сцену вышел бы Александр Калягин и от души послал зал, пардон, в жопу? Неужели театр обязан лишь развлекать, расшаркиваться перед теми, кто приобрел билеты в партер? Долгой лицемерие, и да здравствует искренность!

Мария ГУДЫМА.

Фото Олега ВЛАДИМИРСКОГО.

ВЛАДИМИР КАЦ НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Дребезжит в стакане ложка.
За окошком снег, поля.
Завела судьба-дорожка
В нелюдимые края.

Вдалеке над косогором
Воронье кружит, кружит.
Черный ворон, белый ворон —
Вот и пролетела жизнь.

Памяти Шагала

Над Витебском, над Витебском
Такое небо синее,
Что хочется часами
Над городом гулять.
Над речкою, над склонами,
Над синими влюбленными.
Зелеными влюбленными
Глазами наблюдать
За лепестками легкими,
За немощной улицей,
За пьяными заборами
И грустным скрипачом
Лететь над кривотолками
С любимой, взявшись за руки,
Над временем осколками
И думать ни о чем!

Как пусто в коридоре —
Не видно ни души.
О чем с тобой мы спорим,
Попробуй опиши.

Какой-то "бред впрысдку".
Точнее не сказать.
Давно пора к порядку
Безумие призвать.

В потертом чемодане
С оранжевой наклейкой
Хранятся писем тайны,
И старенькая "Лейка",
И наши фотографии
Осиротевших лет,
Где все безумно счастливы.
А счастья нет как нет.

Вот и снова на иголочке
Стрелка дней качается.
Хлобystнуть бы рюмку водочки,
Да не получается.

Улетели гуси-лебеди —
Только их и видели.
Ложь поведав, пообедали.
Да тебя обидели.

Размечает волны по морю
Ветер переменчивый.
Только не пойти бы по миру
С женщиной невенчанной.

Только бы не впасть в уныние
И тоску дорожную....
Журавли по небу клиньями

Грусть несут острожную.

Надоело мне собачиться,
Черной дурью маяться.
Выйду в море, порыбачу я —
Может, что поймается.

Пометим междометия,
Помножим их на три.
Такую арифметику
Попробуй разбери.

На улице — ни лампочки.
Кругом густая тьма.
Взлететь ночью бабочкой
И не сойти с ума.

И не сойти по лестнице,
Чтоб лоб не расшибить.
И хочется повеситься,
И хочется любить.

А складка переносицы —
Как мостик между глаз.
И вновь пополнить хочется
Любви иконостас.

Свистящий вздох астматика
Поди останови.
Опять любви грамматику
Мы строим на крови.

А-а-а-а-а.

И-и-и-и-и.
Ах, о чем слова?
Ах, да о любви!

Что ни слово — вдох.
А-а-а-а-а.
Над ночами — мох.
Всюду трын-трава.

Перехватит дух,
Но на раз, два, три —
Снова этот звук:
И-и-и-и-и.

Я обручен навечно с русской речью,
С тяжелой шириной равнинных рек,
С излучиной. И обречен картечью
Картавых слов оборонять свой век.

И никуда, и никуда не деться
Сверхку малороссийской тишины.
Листом, засушенным
в картонной книге детства,
Не выпасть из гербария страны.

Мы квиты, ты думаешь?
Что же, пожалуй, мы квиты.
Лишь в сердце занозой осталась
та давняя боль
И черный, когда-то тобою
подаренный свитер,
А так ничего, пустота оголенная, ноль.

И северный ветер,
и ветер колючий восточный,
Холодная ночь,
и почти опустевший перрон,
И крик паровоза
пронзительной нотой неточной
Какой уже год разрушает
мой утренний сон.

...В летнюю ночь...

Поздний вечер. Баня. Женская. Тетки, соответственно, моются. Под плотно закрытой дверью тусуется всякая нечисть — оборотни там, вурдалаки и прочее. К щелочке щемятся, внутрь заглядывают. И жалобный голос из-за спин всего этого толковища: "Поднимите мне веки, ну поднимите мне веки, пожалуйста"... Анекдот, конечно. Но не только. ОтНЮдь. Еще и своего рода иллюстрация к пардон, дисперсии реакций на это самое "НЮ".

Реакция номер раз. Целомудренная. В смысле — "что вы, да как можно!" Характерна, как правило, для пожилых девушек, которым есть что вспомнить. Но не хочется.

Реакция номер два. Пугливая. "Я об этом слышал, но я слышать об этом не хочу!" Свойственная солидным, ответственным мужчинам, отягощенным властью или финансами, делиться которыми — опять же — не хочется.

Реакция номер три. Массовая, общенародная. "ЭТО?" Да, оно как бы есть. И можно даже поглядеть. И где-то даже не без удовольствия. Но — чтобы никто не видел. Так — через щелочку...

Есть еще и реакция номер четыре. Здоровая. Это когда без сальностей, без скабрзностей и — без ханжества. Когда не шарят липкими глазенками по стройной женской фигурке, но и не делают старательно вид, что процесс стирания граней между мужчиной и женщиной у нас, таки да, произошел, причем бесповоротно и окончательно. Когда обнаженную натуру — будь то живопись, фотография, карикатура, боди-арт, да что угодно — воспринимают не на уровне голы попки или (если вид спереди) таких же неотдетых сисечек, а как живопись, фотографию, карикатуру, боди-арт...

Все вышеперечисленные реакции имели место быть. Причем и ДО, и ПОСЛЕ первого одесского фестиваля эротического искусства "Нюмарина", придуманного и сделанного группой городских сумасшедших, которые в нашем богоспасаемом городе (слава Тому, Кто его спасает!) не переводятся. Тем, кому надо все разъяснять по пунктам, разъясняю: в данном случае сумасшедшие — это не диагноз, это — комплимент. А как иначе назвать человека, которым мало просто приятно поболтать в приятной компании, чего-то славного придумать, пофонтанировать идеями — да и разойтись по домам с милым, душу греющим ощущением своей гениальности... Ну, любят они праздники, эти журналисты, актеры, фото- и просто художники. Причем ладно бы — так, платонически. Нет, их любовь к праздникам (и ладно бы — только к своим, собственным!) — деятельная, требует выхода. И — при этом — очень даже чистая, прям до целомудрия. Во всяком случае, финансами (спонсорскими) ее не ополчили...

Со спонсорами (теми, кто имел возможность вложить денежки в красивую реализацию красивой идеи и получить свои дивиденды, но возможностью этой не воспользовался) действительно вышла напряженка. Но все же люди понимающие и не отказавшие в поддержке намешлись. За это им — Трансчерноморскому одесскому проекту "Топ-Медиа" и издательству "ВМВ" — искреннее человеческое "спасибо" от отцов-основателей (и матерей) "Нюмарины": общественной организации журналистов "Медиа-центр".

А вот кто идею оценил практически без уговоров, так это люди творческие. Самыми активными (и наиболее полно репрезентированными на выставке) оказались фотохудожники числом в 14 авто-

ров, предоставившие 68 работ (их могло быть и больше, но ни один музейный зал не может вместить больше того, что он может вместить). Если и дальше поверять алгеброй гармонию фестиваля, то статистика будет такой: 10 художников — как живописцев, так и графиков (42 работы); 7 карикатуристов (45 работ). А еще были показаны:



Леонид ШИЛОВ. "На Ивана Купала".

— любезно предоставленная Художественным музеем серия изящных, тонких иллюстраций Константина Сомова к знаменитому некогда эротическому альбому "Книга маркизы";

— подготовленная сотрудниками мемориально-литературного музея Александра Пушкина (где, собственно, действо и происходило) экспозиция "Запретный Пушкин": из той области наследия бессмертного гения, с которой детям до... знакомиться не очень рекомендуется, да и некоторым взрослым, которые уже после... — тоже;

— ностальгическая витринка с очаровательными в своей обнаженной наивности героинями старинных открыток начала 20-го века из коллекций краеведа Олега Губаря и журналистки Риммы Березенко. Поскольку страна должна знать своих героев, торжественно оповещая: именно она придумала само это слово — "Нюмарина", ставшее названием фестиваля, вдохновившее и оргкомитет, и участников, и — главное — зрителей, счастливых обладателей именных приглаше-



тельных билетов, а значит, гостей праздника и одновременно — членов коллективного зрительского жюри, которое и оценивало: а кто же здесь, собственно, лучший. (О критериях оценок можно, конечно, поспорить, но, да простят меня искусствоведы, сама грешна: то, что имеет отношение к искусству, для себя оцениваю, исходя из железобетонно-



Эмзар КИКНАВЕЛИДЗЕ. "Идиллия".

го принципа "нравится — не нравится", он же — "греет — не греет".) Специальные купоны с именами фаворитов собирали в настоящий цилиндр пушкинской поры обнаженные (в меру!) девы, юные боди-артовки, расписанные Златой Гончаровой и осененные венками из скромных полевых цветочков...

Именно Злата и была признана лучшей в номинации "Ню и картина!" (нельзя, правда, не придраться — если по-хорошему, то нужно было бы отдельно отмечать живопись и графику, но это ладно, в следующий раз: грозятся же устроители, что "Нюмарина" станет традиционной). Лавры победителя среди фотохудожников достались Ивану Череватенко (его чудная "технопромэротика" — заводские трубы, снятые так, что мысли как-то сразу воспаряют над скудной экономикой в области куда более приятные, — оказалась вне конкуренции, хотя конкуренция эта была очень достойной). Среди карикатуристов пальма первенства — у Леонида Левицкого.

Ни лавров, ни пальм, правда, победителя не вручали. Что вручили, так это специально созданные к "Нюмарине" фестивальные призы, изготовленные художни-

ком Алексеем Чипиговым: серебряные раковины с притаившимися в них кораллами (марина, знаете ли!). А дерево в зале пушкинского музея все же выросло, правда, не экзотика какая-нибудь, а самое подходящее для наших широт. Его принесли с собой артисты фольклорно-этнографического центра "Берегиня" (бессменный руководитель — Элеонора Шапкина), представившие исконные ("автентичні", как сейчас звучит чаще, потому что круче) народные обряды, песни, обычаи, которыми издревле встречали праздник Ивана Купала — славянскую мистику, яркую и завораживающую, как завораживает живой костер; которыми приветствовали дивную ночь, когда сходятся дивные силы воды и огня, земли и неба, а люди поют о любви и ждуть ее, не деля, не препарируя, не кромсая на небесную и земную...

Может быть, главное, что удалось на "Нюмарине", которая и состоялась в канун Ивана Купала, — именно это сочетание, казалось бы, несочетаемого. Яркие украинские наряды участников фольклорных коллективов (кроме "Берегини", выступали вокальный ансамбль "Квинта" под управлением Людмилы Волковой; мужской вокальный секстет Южно-Украинского педагогического университета "Явори", убедительно и талантливо продемонстрировавший, как мощно и ра-

ты, запечатленной Олегом Владимирским, Георгием Исаевым, Юрием Бойко, Евгением Волокиным... Или — ими же придуманной и срежиссированной. (Красивая женщина — это, знаете ли, улыбка Бога, которой трудно не улыбнуться в ответ. А вот увидеть, разгадать, открыть улыбку — или печаль — затаенную, скрытую, ту, что не для всех, куда труднее...)

В общем, как уже после "Нюмарины" кратко, емко и авторитетно резюмировал Евгений Михайлович Голубовский, "получилось неожиданно симпатично". Получилось — вопреки пресловутому закону "первого блина", того самого, который, если по правилам, непременно должен быть комом... Да кто их придумал, эти правила? Кто сказал, что они так уж нерушимы? Кто сказал, к примеру, что музей (особенно — если он мемориальный) должен быть непременно исполнен чинной тишины, нарушаемой разве что восхищенными вздохами (или интеллигентно прикрытыми ладошкой звенками), что передвигаться здесь можно исключительно на цыпочках, постепенно покрываясь пылью веков и чувствуя: уже и сам потихонечку превращаешься в экспонат (вопрос об исторической ценности такового представляется, правда, дискуссионным)? Кто сказал, что и сам Пушкин, под именем которого с таким легким озорством соединились древний народный праздник и праздник новый, на глазах придуманный, — тоже только экспонат, забронзовелый в своей хрестоматийной неприкосновенности?..

И дело даже не в том, что из созданного им относится ханжами от литературы (или теми, кто рядом) к возвышенному, а что — к земному. Дело не в скрупулезных подсчетах (вполне научных, между прочим!), сколько раз в пушкинских текстах встречаются те или иные словечки, характерные для лексики мизераблей (что, впрочем, никак не означает, что люди, претендующие на интеллигентность, ими не пользуются), а в приличных изданиях заменяются целомудренным многоточием. Да и не в самих этих текстах (вообще не для собраний сочинений, между прочим, создававшихся, а для друзей — со всей бравадой молодости, гусарской лихостью и нестраченной радостью бытия) — дело... А в чем? Да все в той же ранее упомянутой дисперсии, пардон, реакций. На новую идею. На время встречи и место. (Его, к слову, можно бы к следующему году и поменять. Не из тех соображений, что эротика и Пушкин — "две вещи несовместные": это утверждение настолько смешно, что на контраргументы и тратить-ся жалко. Просто — простору хочется. И воздуху.) На подбор участников (ну, тут уж на всех все равно не угодишь: мало что из настоящего творческих личностей согласится в ком-либо заподозрить зачатки гениальности. Кроме как в себе...) и работ (хочется, чтобы отбор был действительно более строгим: очень много чего интересного осталось за бортом "Нюмарины"; а кое-чего, что на ней было, могло бы и вовсе не быть)...

Но это все — уже из серии того, что может быть — потом (продолжение, судя по настрою организаторов "Нюмарины", следует). А в том, что уже было, главное, как по мне, реакция номер пять. Ощущение чего-то яркого, пестрого, нежно-манящего, дразнящего и ускользающего — как едва уловимый аромат духов красавицы, прошедшей мимо; как послевкусие глотка хорошего вина. Как сон. В летнюю ночь...

Елена СВЕНЦИЦКАЯ.

АЛЛА ГОЛОВАНОВА**АКУПУНКТУРНЫЕ СКАЗКИ****ЖИЛА-БЫЛА
ВИВАКА****МЕМОРИАЛ**

Жила-была Вивака. Однажды она шла по бульвару и нашла свое счастье. Счастье было таким огромным, что не вместились в рамку. Пришлось Виваке аккуратно сложить его в комнате и сделать комнату мемориальной.

ОКСЮМОРОН

Однажды Вивака и Люша делили оксюморон. Они тянули его за концы в разные стороны. Оксюморон лопнул. У Люши в руке остался страшный конец, а у Виваки — красивый.

ВОКАБУЛЯР

Жила-была Вивака. У Виваки был огромный вокабуляр. Она все время ходила с ним к Люше. Вивака доставала из своего вокабуляра разные слова и кормила ими Люшу. Люша нехотела. Иногда Люша тайком выплевывала некоторые слова и тихо играла с ними.

СЧАСТЬЕ

Жила-была Вивака. Однажды она шла по бульвару и нашла свое счастье. Счастье с ходу в руки не давалось. На бульвар срочно приехали Эва с мотком веревки и Люша со старым пледом. Через час Вивака баюкала свое счастье.

АНГЕЛ

Однажды Вивака пылесосила ангела. Он влетел к ней со двора в облаке тополиного пуха. Гудение пылесоса заглушило гудение трубы, на которой ангел что-то протрубил. После чего он улыбнулся и исчез. Вивака вздохнула и достала с полки книгу "Все об ангелах".

ГЛИЦИНИЯ

Вивака выращивала глицинию. Глициния не прижилась в огороде на даче — видимо, ей не доставало тепла; стала чахнуть и в городской квартире — наверно, ей не хватало света. Тогда упрямая и круглогодично горячая Вивака прижала ее к сердцу. Теперь она носит кашпо в дамской сумке, ветви цветущей глицинии — на шее. Друзья думают, что это дикивинное ювелирное украшение одного известного итальянского скульптора.

**ЖИЛА-БЫЛА
ЭВА****ЧЕШИРСКИЙ
КОТ**

Жила-была Эва. Она родилась в цирке, поэтому могла перетекать из одной страны в другую. Иногда она так стремительно пере-

текала обратно, что ее прошлая улыбка еще продолжала висеть в воздухе. Дети во дворе думали, что она — Чеширский кот.

СТРЕМЯНКА

Жила-была Эва. Она родилась в цирке, поэтому умела читать стихи, стоя на стремянке. Поклонники ходили за ней и всюду носили стремянку.

**ПОЭТИЧЕСКИЙ
ЯЗЫК**

Жила-была Эва. Однажды она гуляла по суздальским местам, и на нее напали разбойники. Эва изящно поправила шляпу и тяжело вздохнула, понимая, что ей опять придется сначала обнажать свою пирожеральную суть, а потом маскировать тела врагов среди ре-мелтов. Но тут раздался волшебный шум: ей на помощь спешили друзья. Первой прибежала Вивака, грозно погромыхая метафорами. Враги дрогнули. А когда подоспевшая Люша неожиданно выстрелила в них тонким поэтическим языком — позорно бежали. Спасенная Эва сочинила оду.

ВЕРБЛЮД

Жила-была Эва. Она родилась в цирке, поэтому у нее был дрессированный верблюд. Когда Эва величественно выезжала на нем из подъезда, двор благоговейно стихал. Верблюд обожал Эву и плевался на ее недоброжелателей. Эва отвечала ему взаимностью и в знак особого расположения позволяла раз в году съесть какую-нибудь свою соломенную шляпку.

ВСЯ ТОЛПА ЭВ

Жила-была Эва. Она родилась в Одессе, поэтому ее было так много внутри, что когда она выходила из себя, образовывалась целая толпа. Все вышедшие Эвы тут же принимались читать стихи и беседовать об искусстве. У Эвы был рыцарь. Он не умел выходить из себя толпой и очень терялся, пытаясь одновременно ухаживать за каждой Эвой в отдельности. При этом терялся рыцарь настолько самозабвенно, что порой вся толпа вынуждена была его долго искать.

СВОЙ МИР

Жила-была Эва. Она родилась в цыганском таборе, поэтому весь свой мир всегда носила с собой. Во время дружеской беседы она запросто могла извлечь из сумочки по мере необходимости то шляпу, то рыболовную сеть, то верблюжью сбрую. Сотрудники Литературного музея опасались заводить с ней разговоры о тайфунах, черных дырах и железной дороге.

**СТАРАЯ
ЛЮБОВЬ**

Жила-была Эва. Однажды она сидела на берегу моря

и выдергивала пассатижами гвозди из сердца. Дернув последний гвоздь, она внимательно его осмотрела и хмыкнула: "И они еще будут мне рассказывать, что старая любовь не ржавеет!"

КОНЕЦ СВЕТА

Однажды Эва покорно дождалась конца света в Мытищах. Ее нечаянно заперли в чужой квартире. Она тихо написала себе эпитафию. И устроила Армагеддон внезапно вернувшемуся хозяину.

**РЕЗО-
НИРУЮЩИЙ
ВЕРБЛЮД**

Однажды Эва беседовала с Живым Классиком, и он посетовал, что ему никак не удается достоверно передать в новом произведении интонацию резонирующего верблюда. "О, это так легко!" — сказала Эва. — Просто представьте себе не вынужденного сигару изо рта говорящего Черчилля".

ПОГРАНИЧЬЕ

Жила-была Эва. Она родилась на пограничной заставе, поэтому была полуглотом. Она проглотила два языка и говорит поочередно то на одном, то на другом.

**МЕЛКАЯ
ДРОБЬ**

Однажды Эва и Люша пили шампанское, хохотали и кипели метафорами. Образы мелкими дробинками поднимались к потолку и сквозняком относились к окну. "Как замечательно!" — сказала Эва. — Ты знаешь, если бы у меня на окне висели занавески из ситца, они бы сейчас превратились в тюль".

**ЖИЛА-БЫЛА
ПАНСА
ГЛУБИНА**

Жила-была Панса. Однажды она переплывала бассейн и увидела в глубине чьи-то ноги. "Утопленник", — догадалась Панса, бросилась его спасать и вытаскивала на поверхность отчаянно сопротивляющегося аквалангиста. "Этот удивительный подводный мир!" — поделилась она радостью с подоспевшей администрацией бассейна.

ЛИТЕРАТУРА

Однажды Панса подражалась с Живым Классиком из-за его нерадивости в написании нового шедевра. Это был ее личный вклад в литературу.

**ХОРОВОЕ
ПЕНИЕ**

Жила-была Панса. Она родилась в поезде, поэтому

никогда не могла остановиться. Порой она в одиночестве начинала петь хором и постепенно входила в такой раж, что через некоторое время бросалась сама себе подпевать.

**ЛЮБОВЬ
К МОЦАРТУ**

Однажды Панса долго разучивала сложный пассаж на скрипке, и на нее ополчились соседи. "Простите меня, тетеньки и дяденьки, — с чувством обратилась она к потерпевшим. — Я была уверена, что вы любите Моцарта! А уж если вы совсем не любите Моцарта, то как вы относитесь к веселой ритмичной музыке? Как раз завтра состоится первая репетиция моей новой хард-рок-группы".

НА КОНЦЕРТЕ

Однажды Панса во время рок-концерта исполнила несколько старинных романсов.

— Почему ты это сделала? — удивились друзья.

— В зале стало душно, как в камере. Вот я и изобразила нечто камерное. Зато потом как все проснулись и подпрыгнули от барабана, будто сквозняком стекло разбило!

**ЛЮБОВЬ
К ИСКУССТВУ**

Однажды Панса умерла от любви к искусству. Потом опомнилась и устроила себе веселые поминки.

**ЖИВОЙ
КЛАССИК**

Жил-был Живой Классик. Живым его называли потому, что он классно вырезал бумажные фигурки из листов хрестоматии и оживлял их.

**ЛИНГВИ-
СТИЧЕСКИЙ
ЗАЕЗД**

Однажды Живой Классик провел безвылазно 30 дней в старом автомобиле, знакомясь с достопримечательностями Пиренейского полуострова. В результате он сумел на ходу освоить множество испанских существительных, виртуозно согласовывая их с русскими прилагательными. "Однако замечательная была ЛИНГВЗДА!" — с теплотой вспоминал он впоследствии.

**ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ**

Однажды Кину на голову свалился грандиозный проект. Проект набил Кину огромную шишку, но принес много денег. С тех пор Кин иногда дежурит в каске на месте падения.

**ПОЛЕТ
ВАЛЬКИРИЙ**

Она вся светилась добротой. Тогда я этого не осознал, но теперь мне очень хочется так думать. Ее легкая походка и тихий покой ее ясных глаз не давали пройти мимо. Нимба над головой не было, но собранные иногда на затылке светлые волосы казались ореолом. Особенно — когда заглянешь в большую студию, где они, "старшие", работали, и мельком увидишь ее стройный силуэт на фоне огромных старинных окон, где мы учились искусству в бывшем здании Общества поощрения художеств.

С нее начался мой Вагнер. Однажды, проходя мимо "старших", я остановился, пораженный музыкой необычайной силы и красоты.

Музыки я знал к тому времени, к моим 17 годам, много. Но эта....

Пораженный, я застыл, прислонившись к стене "их" студии. Вдруг дверь открылась, и — о восторг! — вышла она в замызганном краской халате и с кистями в руках. Как обычно, мило поздоровалась — с достоинством и простотой, доступными лишь женщинам высшего порядка.

— Привет.

— Привет, — говорю я, чувствуя прилив немого восторга. — Кто это? — спрашиваю я, кивая в сторону дивной музыки, обрадованный случаю перекинуться с ней парой слов.

— Это Вагнер, "Полет валькирий", — отвечает она, проплыв мимо.

Пригвожденный музыкой и "ею" к стене, я еще долго стою, глядя в никуда. Одну валькирию я знал к тому времени. Она, благородно-серо-зеленая, писанная больным уже Врубелем, держит под уздцы ретивого коня и глядит на нас ага-товыми глазами со стены Одесской картинной галереи. О, вожденный маленький зальчик! Напротив окна — Врубель, справа — Серов. Моя молельня, мой храм. Место терзаний, зависти и надежд. Мы все тогда надеялись — ведь это было самое начало, и оно было ошеломительно прекрасно. Впереди — только восторг творчества, большого настоящего творчества, такого же, как это, в маленьком зальчике бывшей коллекции Брайткевича.

Но "ее" надеждам не суждено было сбыться. Вскоре после окончания училища я узнал трагическую весть. Это было ошеломляюще нереально. И сейчас, три десятилетия спустя, так же нереально, как и тогда.

Какое мне-то дело? — думаю я через 35 лет на другом конце Земли. Ведь она тогда уже была женой другого. И тот другой (вообще-то, славный парень и художник) наверняка прожил все эти годы, храня память о ней, как святыню. И не он один, а многие, кто знал "ее", и я — лишь среди многих прочих.

За долгие годы жизни в искусстве я видел чудные таланты, обещающие вспыхнуть звездой, но жизнь, неумолимая и жестокая жизнь подминала их под свой неизбежный каток. Или "террор среды", или рок настаивает божественного творца. И мрачные валькирии преждевременно уносят носители света и добра в неумолимое царство теней.

Поэт уже однажды пригвоздил "равнодушную природу" к позорному столбу.

Надо делать это еще и еще, больше и дальше. Везде и всюду. И тогда, может быть, через много-много лет мы научим ее беречь наших лучших собратьев. Мы научим ее быть осматрительнее и разборчивее на страшном и неправом суде.

Мы должны ее научить этому, к большому огорчению бесстрастных, пустоглазых и величественных валькирий.

Боритесь, друзья, протестуйте, ибо это не может так продолжаться всегда!

Леонид ГЕРВИЦ.
Сеул — Одесса,
2003.

Я, Сергей Гевелюк...



...признаюсь, что, родившись в 1953 году в Одессе, благодарен судьбе за возможность жить в этом городе до сих пор. Член Союза фотохудожников Украины, кандидат физико-математических наук. Будучи ведущим научным сотрудником Одесского Национального университета, имею удовольствие более двадцати лет заниматься экспериментальной физикой. Так же долго и с тем же удовольствием занимаюсь фотографией. И если влияние занятий наукой проявляется в художественной фотографии и может быть замечено зрителем, то обратное влияние (искусства на науку) менее наглядно, но возможно.

"Я кажусь самому себе играющим у моря мальчиком, которому удалось найти более красивый камешек, чем другим, но океан неизведанного лежит передо мной", — это сказано о научном познании мира гением науки Исааком Ньютоном, но метафора выдает великого художника. Позволю себе напомнить, что именно он разложил видимый свет на семь цветов радуги...

Я верю во взаимосвязи и взаимовлияние, поэтому люблю снимать пейзажи и натюрморты: пейзажи меня окружают, в них я живу, а предметы натюрморта живут у меня в доме, то есть, как ни крути, тоже меня окружают. И мы занимаемся непрерывным взаимовлиянием, чаще — взаимоприятием. Отсюда вытекает ответственность в жанре портрета и репортажа. Именно поэтому для меня они наиболее трудны. Можно подолгу пристально всматриваться в предметы, пытаться проникнуть в их суть (хотя они не всегда этого хотят), но если вы пристально всматриваетесь в человека (даже с его согласия), то должны нести ответственность за результат.

В какой-то момент жизни мне пришла в голову мысль, что мир специально подбросил человеку очки, микроскоп, фотоаппарат — для более детального изучения нас. Мир вопросов не задает, принято считать, что вопросы задаем мы. Но почему меня не покидает ощущение, что мир пристально и с надеждой всматривается в каждого из нас?







Создатель галереи "Либерти"
Анна Голубовская

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — «ЛИБЕРТИ»

не нужно. В такой семье не мог вырасти ребенок, равнодушный к искусству. Образование тоже неслучайное: художественная школа, кукольное отделение театрального училища, архитектурный факультет ОИСИ. Аня, с ее профессиональными знаниями и широкой эрудицией, обостренной деликатностью, тихим неотразимым обаянием, замечательным чувством юмора — дочь, которой по праву могут гордиться (и гордиться!) даже такие неординарные родители.

В начале девяностых, когда на фоне привычного "музейного" пейзажа стали возникать странные, не очень поначалу понятные публике новообразования — художественные галереи, во Всемирном клубе одесситов открылся маленький арт-салон с гордым именем "Улисс". Для Ани Голубовской это была проба сил в качестве галериста. Неслучайно в первой экспозиции были показаны "шестидесятники": Иосиф Островский, Лев Межберг, Александр Ануфриев, Валентин Хрущ, Олег Соколов — художники, чьи работы Аня помнила и ценила с детства. Для нее это были не только замечательные живописцы, но в большинстве своем люди, которых она хорошо знала, с которыми многие годы дружили ее родители.

Следующая ступенька — галерея на втором этаже Дома книги, что на Дерибасовской. Помню, как часто мы забежали туда — то посмотреть новую экспозицию, то просто узнать, как дела. Аня продолжала выставлять живопись и графику одесситов (и теперешних, и бывших), но появились и со вкусом отобранные сувениры, поделки, мелочи, которые с удовольствием приобретали заезжие гости и одесситы. Кстати, по такому принципу работают многие западные галереи.

Наконец, "Либерти" в ее сегодняшнем виде: небольшой симпатичный подвальчик на Ланже-

роновской, по соседству с выставочным залом Историко-краеведческого музея. Спускаешься вниз по ступенькам — и попадаешь с шумной, суматошной улицы в другой мир. Здесь галерея, конечно, тесновато, но уютно. Хотя, опять же, уют — понятие относительное, он зависит не только и не столько от стен, сколько от хозяев. А как выяснилось, создание уюта, доброжелательной, дружественной атмосферы — еще один талант Ани Голубовской.

Можно долго перечислять выставки, виденные в "Либерти". Кстати, вновь говорящее имя. Помните? "Это сладкое слово свобода"... Тут свобода декларируется как основной принцип: свобода искусства, свобода самовыражения, свобода и соревнование творческих идей — самых разнообразных и неожиданных. И тогда в один ряд естественно становятся самые разные проекты: живопись и графика Адольфа Лозы, Игоря Марковского, Светланы Юсим, Александра Ройтбурда, Татьяны Гончаренко, Александра Ануфриева, Ларисы Нестеренко, Валентина Хруща, керамика Нины Федоровой, коллажи Аллы Жмайло, выставки мастеров ук-

раинского модерна, "Портрет жены художника", а еще — "Что можно собрать на одесских улицах", "Чем писал Пушкин", "Собутылники", "Мой советский народ", "Тайны дамской сумочки", "Графиня и графиня" и прочее, и прочее...

Галерея — не просто выставочный зал, где можно увидеть и при желании приобрести картину, рисунок или иной, как теперь любят выражаться, предмет искусства. Это своеобразный клуб единомышленников и просто симпатичных друг другу людей, куда приходят не только по делу, но просто пообщаться, побеседовать. Глядишь, в отвлеченном вроде бы разговоре (а на деле — отнюдь не отвлеченном, ибо здесь любой разговор в конечном итоге все равно возвращается к теме искусства и коллекционирования) у Олега Губаря, или Сергея Луцкича, или еще у какого-нибудь близкого галереи и ее хозяйке человека рождается идея новой необычной выставки. Чем больше друзей, тем интереснее живет "Либерти", тем лучше чувствуют себя Аня Голубовская и ее верные помощники, тем охотнее приходят к ним новые люди. Не зря, помимо помощи опытным собирате-

лям, одной из своих главных задач Аня считает воспитание нового поколения коллекционеров.

Давно сложился и "свой" круг художников, хотя его никак не назовешь замкнутым. Появляются новые имена, на каждой выставке могут встретиться сюрпризы. Даже когда не предвидишь особых открытий, когда все участники экспозиции вроде бы хорошо знакомы, вдруг получаешь неожиданный подарок — радость от встречи с какими-то не виденными до тех пор работами, от того, как они сплетают свои непохожие голоса в общее многоголосие, в цельную гармоничную мелодию. Такое ощущение у меня осталось, например, после выставки "Портрет жены художника".

Аня не скрывает, что особенно близки ей мастера, принадлежащие к поколению авангарда 60 — 70-х годов. Поэтому логично, что свой праздник "Либерти" отметила экспозицией работ Валентина Хруща (осуществить эту идею помог коллекционер Евгений Лукашов). Напомню: картины Хруща были и на первой выставке, показанной начинающим галеристом Голубовской еще в "Улиссе".

А еще в юбилейный день состоялась презентация сборника "Либерти. Нам 10 лет". Я видела, сколько сил и любви вложила Аня в эту книжку. Элегантная обложка с репродукцией работ Олега Соколова, корректный макет, интереснейшие фотографии (хотелось только, чтобы воспроизведение их было чуть лучшего качества). Маленькие предисловия Феликса Кохрихта и Олега Губаря — изящные, остроумные, любовные. Вступительная статья составителя — ее кредо галериста. Главное же в книге — подборка публикаций, отзывов на выставки, сделанные за эти годы, которая дает возможность другим глазами посмотреть на галерею, оценить, что за плечами у ее сотрудников, оказывается, уже достаточно большой и разнообразный опыт.

У Ани Голубовской масса проектов, желание работать интересно и получать от этого удовольствие. Юбилей — просто возможность приостановиться и оценить пройденный путь. Остается пожелать: счастливого свободного полета тебе, "Либерти"!

Ольга БАРКОВСКАЯ.



На фото Олега Владимировского "Либерти" поздравляют Виктор Хаматов, председатель Союза галерей Украины (Киев), Юрий Петренко, заместитель губернатора Одесской области, Ирина Тимохова, искусствовед, сотрудница Одесского музея Западного и Восточного искусства.



«ЕСТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ...»

...Эх, сбросить бы обувь, а в придачу годков этак с полсотни и побежать наперегонки со своим закадычным другом по серым тротуарам, мощенным кусками лавы со знаменитого Везувия, запрыгать по обочинам из камня-дикаря, на котором нет-нет, да и проступает морская соль, покувыркаться по бархатной зеленой траве, где так долго прячутся росы, а в полдень лениво стрекочут сонные кузнечики, умиротворенные изнурительным летним зноем...

...Или догоним проезжающую по улице подводу-площадку, запряженную парой добрых конячек, и проедем (на дурницу!) — целый квартал за спиной одного из представителей вымирающего — увы! — племени биндюжников? Глаза лошадей сбоку прикрыты кожаными щитками, чтобы животные чего-либо не испугались в городе и "не понесли". Возница оглянулся и беззлобно замахнул на нас кнутом...

...Под бдительным взглядом кошечек-копилков по старинным комодам, покрытым кружевными салфетками и вышивками, маршируют батальоны приносящих счастье алебастровых слоников. Они осторожно — слоны все-таки! — обходят хрупкие розовые раковины, привезенные откуда-то из далеких южных морей, омывающих те самые таинственные острова, куда так неудержимо уносятся мальчишеские мечты.

...Оперный театр-великан с предательскими трещинками-морщинами, сбгающими из-под самого купола вниз по серому фасаду здания, как горькие слезы по щекам заболевшего или капризного ребенка, сидящий на толстой стеклянной подушке, продлевающей ее владельцу на долгие-долгие годы жизнь, и озабоченно ищущий грустным взглядом своего старого друга — фуникулера, убегающего с обрывистого каменистого склона вниз, к берегу самого синего в мире моря, где живет и трудится другой великан — Одесский порт.

...Пыльная, знойная и желтая, как пятак, Молдаванка. Охра стен...

...Серо-голубая Слободка. Побеленные фасады домиков с деревянными прочными воротами, выкрашенными в красный цвет, наглухо запираемыми в вечернюю пору...

...Отмели Хаджибейского лимана. Красно-фиолетовые хвощи на белесых прибрежных солончаках. Излучина дамбы. Пронзительная синева небес. Оглушающая тишина...

...Романтичная и загадочная Аркадия с полуразрушенными гrotами-ресторанчиками из камня-дикаря. Бывшая дача князя Гагарина на плато. "Казачи-разбойники" и другие мальчишеские забавы. Белые, желтые и синие бабочки. Очень много стрекоз...

...Вишнево-абрикосовые и клубничные оазисы Среднего и Большого Фонтанов. Уютные тенистые беседки, обвитые виноградом Лидия и Дамские пальчики.

...Глубокие подвалы, где вкусно пахнет дровами. Здесь также продают керосин, уголь, иголки для примусов и какую-то горючую, пригодную для питья — распробовали! — жидкость розового цвета.

...А вот и некогда грозная пушка, снятая в середине позапрошлого века с затонувшего английского фрегата, повернутая на каменном постаменте жерлом к морю и с тех пор не сделавшая ни единого — ни единого! — залпа, но когда-то, в годы Крымской войны, сердито облаивавшая побережье и совсем еще юный город.

Местные шутники говорят, что если к пушке подойдет целомудренная девушка, пушка обязательно — обязательно! — выстрелит. И полетит в сторону Одесского залива огромное чугунное ядро, распугивая на своем пути беспрерывно кричащих чаек, а при падении в воду — и мелких, становящихся легкой добычей тех же чаек, легкомысленных рыбешек, греющихся под самой поверхностью моря, где так хорошо чувствуются теплые лучи солнца.

Правда, для этого красавица должна сама, без посторонней помощи, вкаты в жерло пушки тяжеленное ядро, зажечь фитиль, поднести его к запалу и... Ну, какой нынче красавице это по силам?

...То там, то тут мелькают на улицах черные нотные папки с дерматиновыми барельефами Чайковского (анфас) и Моцарта (в профиль). Хороший подарок имениннику — книга (необязательно новая!), авторучка, бюстик Пушкина или Маяковского (Горького), просто торт.

...Изложения, сочинения, пифагоровы штаны, параллельные прямые, которые где-то за горизонтом обязательно пересекутся. Иногда во сне не можешь сдать экзамен по математике (этот ужасный сон изредка снится даже спустя много лет). Последние парты — для "особо тупых" — второгодников-переростков, слава о физической силе которых разносится далеко за пределы родной школы.

...Светит ласковое солнышко. Замещающие солоньев воробы своим щебетанием теребят нежные струны в душах горожан. Теплый ветерок развеивает замечательные кудри в прическах не менее замечательных их обладательниц.

Из распахнутых окон консерватории выплескивается на улицы хаос из звуков роялей и скрипок, валторн и флейт, баянов и фаготов... Баритоны тужатся переплюнуть теноров, а высокие звуки лирического сопрано мечтают затмить нижние октавы бархатного контральта. По тротуару разгуливают неповоротливые голуби-сизари, безуспешно пытающиеся склеивать черные, угольно-поблескивающие нотки, подозрительные бемоли и диэзы.

...Игры "в войну", цурки, орлянку, футбол на "полянах"... Маялки, рогатки, самодельные луки, сачки для ловли бабочек, шарики, набитые опилками, на резинках...

...Цветы в городе? Анютины глазки, маргаритки, петунии, чернобрицы (чернобровицы!), оранжево-красные цветки каннов на сочных кукурузных стеблях... Птицы в городе? Воробы, голуби, вороны, ласточки...

...Мраморный Лаокоон, на которого сочувственно смотрят его сыновья, зажмурив глаза, возможно, не только от боли, которую ему причиняют объятия гигантского змея, но и от стыда за тех вандалов, которые — пусть и в далекие времена, когда скульптура находилась в другом районе города! — постоянно отбивали у него важную часть обнаженного мужского тела, постоянно восстанавливаемую — но уже из гипса! — мастерами-скульпторами. В конце концов, по этой причине, а также из-за опасности разрушения мраморной копии осадками и выхлопными газами античное семейство вместе со змеем оказалось на зеленой лужайке перед Археологическим музеем, где статую на зиму заботливо укутывают в водонепроницаемые одежды и закрывают деревянным саркофагом.

А совсем рядом, в одном из залов музея, спит в настоящем саркофаге зубастая египетская красавица, а у входа в музей дремлет безликая Каменная Баба — творение безвестного язычника-скульптора, отшлифованное не только инструментом древнего мастера, но и жаркими ветрами сухих ковыльных степей, ныне почти напрочь распаханных и оставшихся лишь в описаниях дотошных натуралистов да в небольшом заповедном массиве бывших асканийских владений барона Пфальц-Пфейна.

...Слухи, слухи... Говорят, что в каждый апельсин (фрукты привез иностранный корабль!) еще "там!" сделали какой-то укол, и вкушать сей "субтропик" якобы небезопасно... Какой-то старичок выиграл по золотому займу десять тысяч рублей и упал в обморок. В сберкассе билет кассирша как будто быстро подменила, а выигрыш дедули уже составил сто тысяч. Так-то!.. В городские аптеки по вечерам якобы заходит какой-то кавказец и при словах "Раз, два!" быстро распаивает и также быстро запаивает полы шинели, под которой сей гражданин абсолютно голый. В одной, как говорится, отдельно взятой аптеке вот такое "Раз, два!" повторяется несколько раз с небольшими интервалами...

...Жаркий летний день, птичий снегопад над солеными песчаными отмелями. На мгновение крик чайки замедляется, и она бросается в шум прибоя, чтобы продолжить свой путь под водой в поисках добычи. И вот она уже снова парит над волнами. В тихую погоду гортанный, резкий крик чаек разносится по безлюдным берегам и песчаным отмелям. Эхо уносится далеко в глубь степей по спускающимся к морю оврагам и балкам, склоны которых заросли чумаком, дикой акацией, серебристым лохом, тамариском... А внизу оврагов поют свои звонкие песенки веселые ручейки, которым так неохотно отдают живительную влагу сухие причерноморские степи.

...Шарахающиеся в разные стороны лужи. Припудренные крупным бисером тумана, нервно вздрагивают и болезненно чихают на фасадах карточных домиков пустотелые атланты и кариатиды.

...По городу с гитарой, перевязанной розовой атласной лентой, в опрятной светлой одежде ходит еще не старый нищий-дурочок. Его имя — "Мишка режет кабана, Мишка задаётся". Собранную мелочь высыпает в округлое отверстие в гитаре.

Последний раз я видел его возле табачной фабрики на залитой солнцем Тираспольской улице. "Мишка режет кабана" куда-то торопился. Он прошел в двух шагах от меня, чуть наклонив голову, смущенно улыбался и выглядел вполне разумным. Рассказывают, что Мишеля задержали, когда он зарисовывал план какого-то пригородного военного аэродрома.

...В моде кепки, тубетейки, соломенные шляпы, тельняшки, ковбойки, вышитые украинские сорочки, матросские брюки "клев", которые вскоре сменятся стилистическими "дудочками"... Сандалии, галоши, туфли "на босу ногу", костюмы из парусины... Белые туфли — тоже парусиновые! — ежедневно (чтобы были еще белей!) красят зубным порошком...

...Рядом с канатным заводом, на месте старого чумного кладбища, засыпанного известью, невысокая гора — Чумка! Добрый десяток лет после войны на ее плоской вершине — на всякий случай! — была батарея зениток, которую можно было наблюдать — совсем рядом! — из окон трамвая, следующего напрямик к Люстдорфскому пляжу. В вагоне кто-то взахлеб рассуждает, что неплохо-де раскопать сей курган, под которым золотых украшений вполне достаточно, чтобы очень даже нарядно погудеть.

...Пряный аромат уже подвяленных южным солнцем бурых водорослей, которыми набивали свои матрацы даже зажиточные — в свое время! — горожане. Этим матрацам была свойственна мягкость перин из легкого птичьего пуха и упругость значительно позже появившихся металлических пружин. На этих матрацах спали, любили, рожали и умирали. Специфический аромат йода и морских солей становился обителем жилищ многих одесситов, ощущавших этот аромат всю свою жизнь — от первого крика до последнего вздоха. Кто знает, может быть, именно с этого специфического аромата и начиналась тяга одессита к морю, морским путешествиям и дальним-предальным странам.

...В трамвае: "Передайте водителю, чтобы повернул направо!.."

...В переполненный троллейбус заходят новые пассажиры. Кондуктор: "О! Свеженькие... Пассажиры, подожмите животики — кондуктор идет!"

...На "Приводе". Женщина-продавец покупателю: "Так что у вас ко мне покупать?"

...У киоска с газированной водой: "А я вам говорю, что в этой газировке сегодня меньше газа, чем вчера! Чего я так решил? Вчера газ был крупнее!.."

...По местному радио передали, что над городом вечером пролетит спутник. Первый! На Потемкинской лестнице полгорода, задрав головы вверх, нетерпеливо отыскивает взглядом маленькую звездочку... "Ура! Летит!" Вначале пролетел самолет...

...Городской сад. Бронзовые лвы, покрытые сине-зеленой, как бирюза, патиной, невозмутимо глядят в ночное звездное небо, где тихим эхом солнца светится чуть подернутый облаками лик бледной луны.

...Цветение акации начинается внезапно, бурно, под аккомпанемент майских грозовых раскатов и барабанную дробь ливня.

Цветки акации — лакомство для мальчишек; позже это будут белые и темно-красные ягоды шелковицы, а осенью — сладкие рожки-стручки колючей гледичии.

...Импровизированные качели, огораживающие каменный монумент с бронзовым генерал-губернатором — графом Воронцовым. Мы росли, тянулись вверх, а цепи у памятника со временем все больше обвисали — как от нашей тяжести, так и от усилий более легких карапузов, которых как магнитом притягивало к этим к позвякивающим металлическим кольцам. А когда со временем цепи растягивались и в средней своей части касались каменной площадки, приходил мастер и вынимал одно звено из цепи, которая становилась короче. На этих цепях любил раскачиваться мой сын. Теперь это занятие по душе моему внуку...

...Большой футбол. Конная милиция у стадиона в парке над морем. Съедается тонна-другая жареных семечек и красных вареных рачков. Директор стадиона после каждого матча сдает в приемный пункт несколько машин стеклотары. Кто-то позавидовал, напечатали фельетон...

...Бронзовый Пушкин — без рук и без ног! — у здания городской думы, белизна колонн которого даже в кромешной тьме освещает маленькую площадку за спиной поэта. Отсюда и начинается улица его имени.

Особенно хороша Пушкинская в утренние часы, когда росы нежно трются щеками о золотистые стволы платанов, а соленая свежесть моря, вытесняемая шумом и запахами дня, не спеша, отступает на прибрежные склоны по мокрой булыжной мостовой. А где-то наверху уже радостно сияют небеса, и солнечные лучи осторожно гладят заплатки на крышах ветхих памятников архитектуры.

...Как? Вы не знаете, сколько ступенек у Потемкинской лестницы? Подобно Афродите, вышедшей при рождении из морской пены, великая лестница начала свой разбег от морских вод в гортанном снегопаде чаек.

(Окончание на 12-й стр.)

«ЕСТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ...»

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Она стремительно убежала вверх, соединив, подобно радуге, две стихии — морскую и земную. На широких боковых ступенях-площадках лестницы иногда молчаливо сидят морские чайки, по-видимому, озабоченные своими птичьими думами о некогда богатых здесь рыбных местах. В такие минуты они очень похожи на своих сородичей, увлекаемых генетической памятью далеко от моря, в глубь степей, и сидящих неподвижно на черно-фиолетовой пашне, как маленькие последние островки тающего снега.

...Упругий солнечный луч пробился через разрывы в облаках, расплескался в разноцветной мозаике водной ряби, вспыхнул живым серебром в косях снующей в темно-зеленых морских глубинах фирины и, отразившись от воды, запрыгал зайчиками на бортах находящегося у причалов лодок и небольших катеров, всхлипывающих и причмокивающих при каждой набегающей или уходящей вспять волне.

...Говорят, что памятник Дюку хранит какую-то тайну! И что же означает сей изящный жест бронзового вельможи? Разумеется, Дюк хочет снять с ночного небосвода горсть ярких маленьких звездочек, ведущих свой веселый и бесконечный хоровод где-то на бесконечных просторах Млечного Пути, и бросить их праздничным серпантинном, вдруг покотившимся звонкими серебряными монетками под ножки ветреным, нежным и пылким южным красавицам.

А может, градоначальник пожелал сорвать рыхлую виноградную гроздь с крупными янтарными, покрытыми сизым восковым налетом ягодами, из сока которых по-

читателями Бахуса будет изготовлен брызжащий пеной, игристый, так разжигающий страсть ко всем мирским радостям напиток, до которого был даже охот опальный и любвеобильный поэт, проживший в Одессе тринадцать месяцев и обессмертивший свое имя не только романом в стихах и другими замечательными произведениями, но и полезным советом на все времена и для каждого из живущих на Земле, к кому придет онегинский сплин, хандра и черные мысли: "Откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро".

...Маленький цветник, огороженный заборчиком из камня-ракушечника, во дворе на Дегтярной улице. От толстого слоя цемента, почему-то плохо пристававшего к камню, детвора отламывала куски для игры в "классы". Когда-то, за год или два до революции, по дорожкам этого цветника гуляла моя мама; она была совсем маленькой, в белом платьице, опоясанном таким же белым пояском, а в прямые русые волосы был вплетен большой белый бант. Но прежде чем ступить на дорожки цветника, мама подняла голову и смотрела на окно, из которого выглядывала хозяйка (вскоре ставшая "бывшей") дома.

— Тетя! Можно я пойду в садик?

— Можно! Иди, девочка, погуляй!

И мама-девочка осторожно, чтобы не поломать нежные стебли растений, ступала по дорожкам цветника.

Родители у мамы умерли, когда ей еще не было и двух лет. Воспитывали ее родной брат, старшие своей сестры — и такое бывает! — почти на двадцать пять лет (мой дедушка!), и его жена (моя бабушка!). В год рождения мамы дедушка посадил во дворе четыре тополя, поднявшихся со временем высо-

ко над дворовыми крышами. И каждой весной опадающие с тополей мужские цветки-сережки окрашивали апрельские лужи в сиренево-фиолетовые чернильные цвета. Так уж случилось, что именно в год смерти матери спилили и одряхлевшие, засыхающие тополя. Сейчас во дворе нет ни деревьев, ни цветника, только черный асфальт над камнями, по которым суждено было ходить. Ах, детство! Ты — память сердца, пробирающаяся, подобно зеленой тополиной поросли, через асфальт вверх, к голубому небу, благодаря ласковым и надежным материнским корням.

...Рассказ, услышанный в детстве от соседей. Тот же двор на Дегтярной улице. Маленькому Додику Ойстраху больше по душе играть с детворой в "жмурки", чем пиликать на скрипке. Мать будущего маэстро — простая женщина (отца соседи не помнили) — иногда для его остротки применяла обыкновенную качалку для теста. Поневоле вспоминается куплетист-киногерой, вопрошавший: а не нуждается ли творческая личность в некоем руководстве? Что ж, в начале пути это, по-видимому, может быть и качалка, правда, в материнской руке.

...В дом номер тринадцать попала немецкая бомба. Его постепенно восстанавливают из руин. В нем когда-то проживал гражданин, командированный в наши благословенные края на борьбу с ужасно прожорливой саранчой... И теперь сей муж — бронзовый, конечно! — вышел из упомянутого дома-музея прошвырнуться по улице своего же имени.

Стиляга, да и только: черный фрак и красная рубашка. Одет то есть, не то чтобы не по моде, а крайне вызывающе. О чем в свое время графу Воронцову между делом и было доложено-с.

Впрочем, последний от про-странных комментариев по сему поводу удержался: "М-да-с!"

Итак, снова великий Пушкин ("Здравствуйте, Александр Сергеевич! Почему отойди? Ну, извините!") с массивной — пудовой! — тросточкой в крепких руках. Сильный был мужик, колотил, кстати, не раз этим дрынком в свое время по спине одного из одесских извозчиков, о чем тот без утайки даже поведал свету в своих мемуарных интервью. Интересно, что спина вышеупомянутого каретного шофера от сих африкано-поэтических экспромтов будущего камер-юнкера ничуть не пострадала. Сейчас таких спин уже нет. Поэтому городское бюро экскурсий и путешествий (хотите — верьте, хотите — нет!) не рекомендует экскурсантам, особенно праправнукам ме-муариста-извозчика, близко подходить к сему изваянию — во избежание возможных неприятностей.

...Школа для вундеркиндов, где не было и не могло быть черной зависти к успехам другого. Пятилетние малыши выходили на сцену в обнимку со своими скрипками-четвертушками, в сопровождении добрых тет-аккомпаниаторов. Бережно сложенные пожелтевшие афиши... Засушенные между нотными страницами цветки сирени, акации и почему-то обязательно мальвы... До сих пор в ушах самые дорогие сердцу аплодисменты... И сам Столярский одобрительно кивает со стены...

...Но разве может мир состоять из одних вундеркиндов? А кто же будет строить дома? Пахать и сеять? Водить автомобили? Готовить обеды для тех же вундеркиндов?

Ау, вундеркинды! Где вы нашли свое счастье? Здесь, на родной земле? За семью

морями и океанами? Куда вас раскидала судьба? Ау! И никогда уже нам не собраться всем вместе, и не поговорить "за всю Одессу", и не похвастать друг перед другом прочитанной книгой или удачной рыбалкой...

...Дни становятся короче. Сентябрьское, еще теплое море слепит мириадами отражений небесного светила, которое, совершая обычную прогулку по небосклону, уже не достигает в полдень своего прежнего зенита, но еще обливает горожан и гостей этого южного города шоколадным загаром, золотит багрянцем листву каштанов и акаций, а к вечеру, как ему и положено, уходит с достоинством за горизонт, где небо становится кроваво-красным, что является, как известно, предвестником ненастной и ветреной погоды.

А назавтра пастух-ветер будет гнать к побережью се-ребристые барашки волн, надувать щеки-паруса снующих по Одесскому заливу белоснежных яхт, обрывать сохнущее во дворах и на балконах белье, поднимать клубы серо-желтой пыли, вечной спутницы этого города, еще в свое время недобро упомянутой, как и одесская грязь, высоким пушкинским слогом, и с любопытством приподнимать края одежды на загорелых ножках юных капризных одесситок.

...Да! "Я учился в школе Столярского..." И сладко-сладко защемит сердце, и ты станешь маленьким-маленьким, а твоя виолончель — огромной-преогромной, как бегемот... И мама с папой еще живы!.. И так будет всегда!.. А если случится неизбежное, то когда-а-а это еще будет, а скорее всего — не случится никогда!

Виктор МАКИЕНКО.
Одесса.

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ

Он летал по улицам летней Одессы так же, как его руки летают по клавишам рояля. Я бегала за ним, пытаясь уловить музыку су-еты, музыку его напряжения, музыку напряжения его души. Мне хотелось узнать, о чем музыка молчит.

— Юра, о чем молчит музыка? — спросила я его на бегу. Он, не останавливаясь, стал импровизировать, и мне показалось, что он сел за рояль.

Что такое импровизация? У музы-ки всего семь нот, а сколько они рожают мелодий; в каждой минуте всего шестьдесят секунд, а сколько они рожают мыслей. Мысли — это импровизация времени, а импровизация времени — это диалог между нашими душами, когда они созвучны. Мне кажется, что я тоже сижу за роялем и импровизирую.

— Когда музыка молчит, она печалится, — говорит мне Юра, — она печалится о том, как страшно, что люди уничтожают друг друга.

Есть ли смысл в том, чтобы люди уничтожали друг друга? Смысл рождает бессмыслицу, или бессмыслица убивает смысл? Вопросы — это импровизация мысли. Сколько дней у вечности? Я начинаю считать дни, проведенные вне музыки, и мне кажется, что я и не жила вовсе. И Юра не жил. Это мой подарок юбиляру. Он думает, что

ему пятьдесят. Да нет же, он новорожденный. Пятьдесят лет с музыкой — это момент истины, как крик ребенка, только что появившегося на свет. Вечность импровизирует удивительным образом, вкладывая в избранных таланты. Талант Кузнецова достоин вечности, и это обоудно. Руки его рожают звуки, эти звуки рожают удивительную музыку, которая тут же становится нашей. Юра, ты на сцене, а музыка наша! Как я люблю импровизацию! Давай, как в детстве: в четыре руки на одном рояле:

— Какая у тебя любимая нота?

— Нота? До! Она первая, как первая любовь. Первая нота, которую я узнал.

— А я до сих пор узнаю эту ноту. А первую любовь я так и не узнала — наверное, потому, что не встретила с тобой. Ой! А на какую ноту похожа твоя жена?

— Трудно сказать. На аккорд, наверное.

— В какой тональности?

— Ну, в соль-мажоре, наверное. Странные вопросы, меня никогда о таком не спрашивали.

— А это трезвучие или септ-аккорд?

— Это самый естественный, гармоничный, самый простой аккорд, который может быть.

Простых аккордов не бывает, как и простых отношений между

людьми. Встречаются два человека, и выясняется, что кто-то любит импровизировать, а кто-то — нет. А если импровизируют оба, то каждый по-своему. Блаженство приходит вместе с гармонией. ГАРМОНИЯ! Вот она — нота до нашей жизни, начало радости и счастья. От гармонии до хаоса один шаг, утверждает джаз. От хаоса до гармонии — полшага, утверждают руки Кузнецова, когда летают по клавишам рояля, а послушные звуки летят к нам на встречу, и музыка становится нашей. Как я люблю импровизацию! Давай, как в юности: в четыре руки на одном рояле:

— Назови семь любимых женщин, если это звукоряд.

— Нота до — мама. Ре — бабушка. Ми — сестра. Фа — певица Галина Олейниченко. Нота соль — это... моя покойная дочка Оля, потому что это центральная нота, середина между до и до. Нота ля — мама моей дочери. И нота си — это мой директор, директор Клуба высокой музыки, моя жена. А нота си перетекает в ноту до.

Жизнь — это то, что перетекает из ноты си в ноту до, из конца в начало. Причем мне кажется, что это происходит каждый день. Внезапно день заканчивается, но тут же начинается новый, не дав возможности отдохнуть. Интересно, отдыхает ли

музыка? И что такое начало музыки, и что такое ее конец?

— Начнем с конца, — сказал Юра, — потому что конца у музыки нет, потому что она будет существовать дольше, чем человечество.

Как это здорово! Теперь я поняла, что такое вечность: это музыка. Бетховен, Моцарт, Шопен, Кузнецов. Смело? Да! Но ответственно, потому что каждый из них — начало музыки.

— Для меня начало музыки, — продолжает импровизировать Юра — когда начинаешь играть самого себя, то есть свою точку зрения, когда имеешь право ее высказать.

Достаточно ли одного таланта, чтобы начать высказывать свою точку зрения? Возможно, нет. Но именно он помогает познать время, чтобы пересечь пространство там, где начинаются и гармония, и импровизация. Как я люблю импровизацию! Давай сейчас — на одном рояле, в четыре руки:

— Сколько струн у рояля?

— Столько, сколько нужно Богу.

Рояль — это совершенное творение, это Моцарт и Бах вместе. Какие-то дурацкие молотки, суставы, клавиши, дерево и железо, в сумме — живое существо.

— А если рояль чем-то расстроен?

— Я его побеждал всегда и отдавал людям свою музыку.

— Имеет ли музыка запах?

— В каждом зале музыка пахнет по-другому.

Ну, конечно! Даже в начале концерта и в конце она пахнет по-раз-

ному. В начале она пахнет детством, а в конце — аплодисментами. Юра Кузнецов любит все "выдохать" до концерта. Он каждый раз медленно обходит пустой зал, пытаясь понять, с какими испытаниями ему придется столкнуться. Каждый ряд и в партере, и на галерке несет ему свою энергию будущих аплодисментов — сладкую энергию успеха. Она переплетается с талантом и мастерством. Так рождается концерт, так рождается музыка, так рождается имя. И отступают страх, усталость. Усталость по имени "пятьдесят за плечами" и самый страшный страх, что ты уже свое отыграл, что ты играешь свое "вчера". Настоящее становится сказкой, а сказки бродят за границей нашей памяти. Самые сказочные из них — музыкальные. А самые загадочные похожи на светлую грусть. СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ! Между прочим, так называлась первая композиция Юры Кузнецова, которую он написал в студенческие годы. Откуда приходит свет в душу, когда она грустит? Его приносит талант, а талант — от Бога. Бог с ним, если кто-то не доверяет таланту, Бог с ним, если кто-то не помогает таланту. Это только в сказках все хорошо.

Давайте подарим и Юре сказку, так же, как он дарит нам музыку, чтобы у него все было хорошо. И, может быть, тогда за пределами шоу-бизнеса мы перестанем говорить о беспределе.

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК.

Продолжаем публиковать статьи о выдающемся еврейском писателе С. Юшкевиче, присланные из Парижа Виталием Амурским.

Над свежей могилой Семена Юшкевича говорили два представителя двух несхожих культур, двух несхожих мирозерцаний, сыны двух различных национально-исторических формаций. Говорили на разных языках, и каждый на своем признал Юшкевича своим. Это были Шолом Аш и П. Милуков. Вопреки, казалось бы, очевидности Шолом Аш утверждал, что Юшкевич писал по... еврейски. Шолом Аш сам разъяснил этот парадокс: Юшкевич вложил в свое творчество еврейскую душу, еврейское сердце, еврейские нервы и еврейский ум. Вот почему Юшкевич писал по-еврейски. Он наш, он сын нашего народа, верный и честный, преданный и любящий сын.

А Павел Милуков говорил о том, что Семен Соломонович Юшкевич — русский писатель. Оратор включил Юшкевича в сонм русской литературы и в чертогах ее отвел Юшкевичу почетное место. Даже самое содержание творчества С. Юшкевича П. Милуков рассматривал как ценное служение не только русской литературе, но и русскому народу. Он отметил в Юшкевиче писателя, который дал "нам" понять и почувствовать жизнь еврейского народа, служил как бы художественным посредником "между нами и еврейским народом". И за все это праху Семена Юшкевича поклонился.

Надгробные речи вообще не могут служить материалом для объективных суждений и оценок. Живые боятся мертвых более, чем живых, зачастую преступно пренебрегая расположением живых, точно ищут этого расположения у смерти сопричастившихся. Но в данном случае два надгробных оратора вплотную подошли не только к объективной характеристике личности и творчества Семена Юшкевича, но и к той сложной, мучительной, исторически исковерканной проблеме, вне которой невозможно как следует понять ни эту личность, ни это творчество. Проблема эта в основных чертах вновь встала тогда, когда к месту вечного упокоения пришел знаменитый еврейский писатель-художник и сказал: "Семен Юшкевич — наш"; и когда туда же пришел знаменитый русский писатель-историк, государственный деятель и сказал то же самое: "Семен Юшкевич — наш".

Если бы один из них был прав, а другой — не прав, никакой проблемы здесь не было бы. Но она имеется, она вновь стоит перед нами при оценке творческого пути Семена Юшкевича, потому что они оба правы, потому что и представитель еврейского рассеяния, польско-русско-немецко-американский еврей Шолом Аш, и представитель коренной столбовой русской интеллигенции Павел Милуков одинаково, не за страх перед мертвым, а по своей национальности — культурной совести — могли считать Семена Юшкевича своим.

Русский еврей... Еврей, русский... Сколько вокруг этого соединения-разделения пролилось крови, слез, сколько нагромоздилось несказанных страданий, которым еще не видать конца, и сколько здесь все же было радости духовного и культурного роста маленького, но великого народа. Но разве это была только его радость? Нет, и большой великий народ — русский — питался живительными соками русского еврейства. Для исторической науки, социологии и этнологии будет стоять если не загадка, то соблазнительная для исследования задача: как это возможно было, чтобы из культурно-застойной и религиозно бесконечно отчужденной, отчуждаемой и отчуждающей черты оседлости выходили люди, занявшие передовые позиции русской культуры? Как отсюда вышел скульптор Антокольский, гениально выразивший в мраморе исконные образы исконного русского прошлого, почему природа и история рассудили так, что из атмосферы удушливого гетто придет специфический продукт еврейской юдоли и выразит христианнейшие, православнейшие, истинно русские типы Грозного, Нестора, Ермака и многих других?

Или почему еврею Левиту суждено было гениально разгадать и гениально выразить тихие, нежные, грустно заманчивые тайны русского пейзажа? Почему еврей Гершензон стал одним из первых среди людей, исторически, философски и художественно осмысливавших самые ароматные и волнующие страницы истории русских духовных, общественных и литературных борений первых двух третей XIX столетия? Как это случилось, что он, еврей по складу своего мышления,

дал русской литературе, русской истории и русскому сознанию вообще такие изумительной яркости и отделки портреты таких изумительных русских и изумительно русских людей, как Герцен, Огарев, Печерин, Киреевский, Станкевич, братья Кривцовы и многие другие? Откуда в нем эта "изысканность русской медлительной речи" в тонком изображении неповторимо оригинальных общественно-духовных и психологически-бытовых ситуаций в прошлом русского общества?

Как это случилось, что влюбленным в русскую литературу, русских литераторов, русскую книгу историком-библиографом и биографом, добрым папашей русской книги и целого поколения пушкинистов стал еврей С. Венгеров? Можно привести еще множество других примеров, когда русские евреи лидируют в тех областях русской культуры, где национальное начало сказывается всего сильнее, ибо речь идет о явлениях духа, а не материи. Между тем, если охватить всю область культуры, включая и ее национально нейтральные стороны в виде точных и практических наук, то роль русских евреев в общем культурном развитии России, начиная с XIX века, вырисовывается в еще более исторически значительных чертах.

Не забудем, однако, что эту важную роль русское еврейство сыграло при том условии, что стараниями самодержавного режима и высших слоев правя-

Между проклятиями старой среды и недоверчивым любопытством новой, в опустошенной промежуточной зоне стояли тысячи молодых евреев, уже в раннем возрасте надломленные культурно-бытовой чрезополосицей. Отсюда вышли первые беглецы в заокеанские страны, самоубийцы и выкредеты, люди, не порвавшие только с вероисповедными документами, но порвавшие совершенно со своим народом, ассимилировавшиеся. Тут были не только карьеристы и гешефтмахеры, но и подвижники революционной борьбы, деятели науки и искусства, люди во всех отношениях приемлемые и симпатичные, но мало и неохотно вспоминавшие свое национальное происхождение. Они при случае не отказывались, если крайне нужно было, заявлять себя евреями, но никакого желания "навязываться" у них не было.

Но было и осталось очень много евреев, которые подняли на свои плечи этот тяжкий крест: быть русским евреем, быть евреем и русским. Две любви, две страсти, два борения... Не слишком ли много для одного сердца? Да, слишком много. Но в том и состоит фатальный трагизм этого двуединства. Здесь равновесие — не данность, а заданность. Здесь

Nur der verdient sich
Freiheit wie das Leben
Der taglich sie erobern muss.

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

щих классов еврейство сознательно и систематически выталкивалось из русской культуры. Черта оседлости и процентная норма приема в учебные заведения опускались тяжелой дубиной на головы тех еврейских юношей и девушек, которые рвались из черты, из удушливой атмосферы застойной религиозно-национальной традиции на волю вольную света и знания. Каждый атом их, достававшийся еврейской молодежи, покупался ценой неслыханных страданий. Преодолев в мучительном боре-нии отцов и детей сопротивление национально ограниченной среды, эта молодежь на пути своем к русской культуре наталкивалась на колючую изгородь самодержавного, антисемитского заряженного режима. Для множества из них борьба за культуру принудительно превращалась в борьбу за революцию. Борьба за цель трагически, фатально превращалась в борьбу за средство. Еврейство влилось в революционный поток, стало одним из значительных стимулов революционного развития и отдало множество жертв как светлым, так и темным духам революции.

Проблема русского еврейства превратилась в запутанный клубок острых противоречий. Трудно было в атмосфере отжившего строя быть русским. Бесконечно мучительным было в условиях националистическо-дворянского режима оставаться евреем. Но Голгофой из Голгоф было существование евреев, которые, формально не порывая с верой отцов, душевно и сердечно оставаясь со своим народом, жадными устами приложились к чаше русской культуры. Нигде борьба детей и отцов не принимала столь предельно драматического напряжения, как здесь. Изображенная Тургеневым драма — идиллическая картина по сравнению с тем, что творилось в еврейской среде. Отцы чувствовали, что дети уходят в инациональный мир, господствующие элементы которого душат и отцов, и детей на каждом шагу. Дети чувствовали: отправляясь в чертоги русской культуры, они встретятся с недоверием, подозрительностью, когда хорошо, когда совсем худо скрываемым пренебрежением сильного к слабому. Слабавое юдофильство так же было по чувству человеческого достоинства, как и терпкое юдофобство.

Да, ежедневно, ежечасно нужно завоевывать это единство. Дух должен постоянно бодрствовать, отвечая на множество разное и противоположно направленных раздражений извне. Здесь нет еще прочного наследственного капитала, процентами с которого можно жить рантье-ром духовной надежности. Нет, это тяжкий труд повседневного двуединного самоутверждения, вечная подпольная судорожная пляска атомов и молекул души, которая лишь во вне являет себя в виде правильного движения.

Когда Шолом Аш говорил: "Он наш"; и когда П. Милуков говорил: "Он наш", — говорили они о разных сторонах, реально неразделимых, одной и той же сложной и мучительной проблемы русского еврея.

* * *

Здесь и находится первый, самый главный подступ к пониманию личности и творчества Юшкевича. Было много русских писателей, писавших о евреях. Было еще больше евреев, писавших по-русски о евреях. Не в темах тут дело. А вот в чем.

Семен Юшкевич пришел в русскую литературу и сказал внятно: я еврей. Хотите меня таким — хорошо. Не хотите — поборемся. Я буду писать не только о евреях, но и о русских, вообще о людях, страдающих, любящих, о героях и ничтожествах, злодеях и праведниках. Я хочу быть русским писателем, писателем русской литературы, русской литературной славы, русских литературных огорчений, миллиона русских литературных терзаний. Но не ошибайтесь насчет меня — я еврей. Вот я не имею права жительства в Петербурге, с большим трудом приезжаю сюда для постановки своего пьеса, переговоров с журналистами и издательствами. Но я — русский литератор, хочу им быть и буду все-таки евреем. Вот я стремлюсь попасть на сцену Александринки, казенного театра, опекаемого и сторожимого матерыми представителями дворянско-бюрократической реакции, вот я зажигаю Савину желанием сыграть роль бедной еврейки в моем "Короле", и Савина, великая русская актриса, вызывавшая преклонение Тургенева, вступает в борьбу с сонмом

царских бюрократов, чтобы моя пьеса пошла в Михайловском, а другая — в Мариинском театрах, на подмостках которых появляются типы моих любимых, как люди, любимых, как творческие образы, евреев — травимых, гонимых, презираемых евреев. Но не впадайте в заблуждение: вывел на сцену, их образами воодушевил замечательных русских актеров, ядерных русских работников русской сцены, еврей — Семен Юшкевич.

Вот это было ново, вот это было смелое, вот это было его, Семена Юшкевича, оригинальное и единственное в русской литературе. Он пришел в нее и шел в ней не так, как шли другие русские писатели еврейского происхождения. Для последних, когда они писали из еврейской жизни, еврей был материалом среди другого материала. В этом отношении такие писатели ничем не отличались от писателей русского происхождения, писавших на еврейские темы. Разница могла быть в большем или меньшем знании бытовых подробностей, но подход к теме, по существу, был одним и тем же. Но Семен Юшкевич давал в русскую литературу еврея не как подробность своего творческого пути, а как самое главное и определяющее этот путь направление. Он тут, осознанно или бессознательно, выполнял некую миссию литературно-национального служения, в этом черпал бодрость творческого духа и сознание особой, отличной от всего другого, нужности своей русской литературе. Тут еврей появлялся не как бытовая экзотика, не как занимательная подробность прекрасной повести русской литературы, а как один из равноправных элементов тематического, портретного и психологического материала, из которого строится эта литература. В этой литературе были дворянин, мужик, мещанин, купец, фабрикант, рабочий, чиновник, интеллигент, а еврей присутствовал в ней для орнамента, для вводного предложения, для литературного гурманства иногда. Семен Юшкевич пришел в русскую литературу для того, чтобы водворить в ней еврея на постоянное жительство, на равных правах со всем остальным тематическим материалом "настоящих" русских писателей.

Это был нелегкий труд. Это было подвигом. Потому что право жительства в литературе еврей имел только в той мере, в какой являл собою или рыжего урода, питавшего чувства национального отталкивания, или сладенькую субботную благочестивость до тошноты честного и благородного, до нестерпимой фальши богобоязненного, или, наконец, какого-нибудь до невероятия чудацкого чело-вечка, жалкого, голодного, но отменно остроумного, готового сию минуту умереть, чтобы растрогать сердце дамы, которой надо же когда-нибудь поплакать "настоящими" слезами. Только с таким или подобным паспортом еврея пускали на страницы художественной литературы. В ней были иногда очень яркие, порою слишком яркие "оригиналы", но не было в ней еврея-человека.

Громадная историко-литературная заслуга Семена Юшкевича заключается в том, что он привел в русскую литературу еврея-человека. Не "тип", не художественно-изобразительная теза, не "что-нибудь особенное", а просто еврей-человек волновал Семена Юшкевича в его художественных исканиях. В этом заключался общественный и национальный умысел, вернее — общественно-национальная интуиция Юшкевича, чтобы раз навсегда избавить еврея от необходимости иметь для права жительства в русской литературе какие-либо особые, чрезвычайные качества. Как в области борьбы за гражданское и политическое равноправие евреев, речь шла о том, чтобы еврей сопричастился общему действующему праву не за особые заслуги и качества, а просто в силу своего звания человека, так и в области борьбы за свое литературное самоутверждение речь шла о том, чтобы еврей сопричастился общему художественному материалу русской литературы не за особые заслуги и качества, не за соблазнительную оригинальность, а просто в силу своего звания человека.

На пути к разрешению этой задачи сентиментальный филосемитизм стоял еще более серьезным препятствием, чем терпкий антисемитизм. Такой же духовный продукт бесправия, как и антисемитизм, филосемитизм был тем опаснее для свободного художественного творчества на еврейские темы, что он имел в глазах еврейской интеллигенции как бы твердое право требовать поставки ему

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)

такого еврея, который бы не портил дружественных чертей человекалюбия, терпимости и т. д.

С друзьями всегда приходится считаться больше, чем с врагами. В этом и заключался в течение долгого периода основной порок еврейских публицистики и беллетристики на русском языке, что они были зажатые в тиски антагонистической пары — филосемитизма-антисемитизма. Если публицистика как область, в которой цели доминируют над средствами, еще кое-как, с грехом пополам, справлялась с этими затруднениями, то художественное творчество как область, в которой средства играют несоизмеримо более важную роль, страдало в этих тисках в самой основе. Необходимость, отвлекаясь от того, что подсказывают музы, оглядываться на то, что скажут, подумают и почувствуют "друзья" и что скажут, подумают и почувствуют "враги" еврейского народа, коверкало художественный замысел и художественное исполнение всех беллетристов, бравших темы из еврейской жизни, и в особенности — беллетристов-евреев. Косвенно и в конечном счете эти благонамеренные изображения благонамеренных евреев только содействовали тому же антисемитизму. Ибо изображения эти невольно рождали в читателе представление о том, что тут речь идет об исключительно оригинальных типах, о людях-евреях совершенно "особенных", каких в жизни бывает всегда очень мало. Вместо того чтобы светом этих симпатичных, трогательных евреев осветить все еврейство, эти светлые типы только сгущали тьму над тем еврейством, из которого были извлечены и литературно отпрепарированы.

Семен Юшкевич решительно порвал с этой губительной — общественно, национально и литературно губительной — традицией. Он сбросил с себя гнет "врагов" и гнет "друзей". Он никого не просил любить евреев черненькими или любить их беленькими. Он сделал нечто гораздо более значительное как для евреев, так и для русских — сказал всем читателям русской литературы: можете их совсем не любить, довольно и того, что вы их будете знать.

Я думаю, что здесь кроется тайна громадного успеха Семена Юшкевича как среди русских, так и среди еврейских читателей русской литературы. Этот краткий манифест о необязательной любви и достаточности одного знания, манифест, нигде С. Юшкевичем не кодифицированный, но составляющий мощную морально-национальную основу его творчества, не мог не быть воспринятым широкой массой еврейских и русских читателей как отрадная хартия свободы не только писателя, но и читателя. Отрадно чувствовать свободу в себе, но не менее отрадно чувствовать свободу в других. Каждым своим новым произведением из еврейской жизни Семен Юшкевич как бы вновь утверждал радостно эту свободу в себе и в других. И друзья, и враги могли читать произведения Юшкевича без оглядки на национальные притяжения и отталкивания, без того, чтобы в процессе положительного или отрицательного восприятия читаемого вносить органически чуждые этому процессу элементы. В этом смысле творчество Семена Юшкевича можно назвать в высшей мере объективным. Он был объективным, потому что был свободным.

Значит ли это, что Семен Юшкевич в изображении добра и зла еврейской жизни был "постыдно равнодушен"? Всякий, кто знаком хоть с маленькой долей того, что писал Семен Юшкевич из еврейской жизни, знает, что меньше всего Семену Юшкевичу давалось равнодушие. Оно ему не давалось даже в крайних необходимых случаях.

В мою задачу не входят оценки формально-литературных качеств творчества покойного писателя, но я не могу не отметить одной стороны в этом творчестве, важной для понимания всего жизненного пути Юшкевича. Я бы сказал, что Семен Юшкевич во всем своем творчестве находился во власти вопиющего мирочувствия. "Пусть уже будет тихо", — говорит один из его героев. Но это только молитва, только несбыточное желание. На Земле — крик, и все на ней вопиюще. Земля — во власти трагической акустики. От этого и Юшкевич — во власти вопиющего мирочувствия. В изумительном по лиризму, самом "тихом" произведении Юшкевича, "Невинные", в стиле умиротворенного и целомудренно-грустного автор рассказывает, как "солнце играло, и блистало над нами, и посы-

лало дожди самых золотистых и светлых лучей, чтобы хоть немного одушевить и принарядить наши низенькие, старые и темные дома и вызвать немного крови на наши с детства старческие и сероватые лица, и тихо улыбалось, как мать, гогочущим гусям и кудахтавшим курам, которых с криком гоняли наши ребята, которых с криком гоняли их отцы, которых с криком гоняла добрая смерть к месту вечного успокоения"...

"С криком"... В этом заключалось все мучительное в жизни и творчестве Юшкевича. Это была трагическая акустика его души. Мне думается, что здесь находится ключ не только к пониманию, но и к приятию некоторых формальных сторон в творчестве С. Юшкевича, вызвавших большие нарекания. Во всяком случае, здесь совершенно уничтожается какая-либо возможность подмены объективности в подходе Юшкевича к еврейской жизни равнодушием и безразличием. Вся Земля и все живущее на ней, а в особенности — евреи, кричат, вопиют. А на ней и среди них, за нее и за них, чтобы она и они могли, наконец, перестать кричать и вопиать, кричит и вопиет Семен Юшкевич.

Но разве евреи — не такой же народ, как и все другие, разве вопиющее в нем — это только его мучения? А где же мучители? Где злость, тупость, глупость, бессердечие? Неужели все это — вне еврейства, а в еврействе — только страда-

вставил своего еврея в рамки шумного, бурливого города с его смесью племен, наречий, состояний, с его лихорадкой труда и лихорадкой стяжательств, с его взрывами социальных страстей и взлетами социального идеализма, с его скрежетом зубным, скрежетом железным, ревом людей, ревом поездов и паровозов, грохотом мостовых, кранов, лебедок, воем голодных, воем пьяных, воем душимых и воем душителей.

Семен Юшкевич стал искать своего еврея не у синагоги, но на фабриках, заводах, в портах, трактирах, на блестящих улицах, в шикарных магазинах, моргах, больницах и на кладбищах, искал его в театральных ложах и домах терпимости, в революционном подполье и в залитых солнцем верандах интернациональных кафе, искал его, пробираясь с черного хода на кухни и в людские, а с парадного — в кабинеты и салоны почтенных, полупочтенных и совсем не почтенных банкиров, врачей, юристов, маклеров, экспортеров, рантье и т. д.

Благочестиво одностонный и одностонно благочестивый еврей был брошен в водоворот страстного напряжения городской культуры, городской экономики, и здесь его настиг крупный литературный талант Семена Юшкевича, настиг и благословил за этот разрыв с застойной традицией, за этот прорыв к новым берегам сложной, противоречивой, социально взрывчатой и — вопреки всем му-

Позтому приходится бороться не только за факт, но и за право на него. Борьба на право на... Леона Дрея! Борьба за право на... альфонсов, "котов", прости-тутки, все виды человеческой мерзости! Можно ли выдумать парадокс более мучительный и издевательский? Между тем — если бы это был парадокс выдуманный! Ведь он создан был самой жизнью как один из необходимых ответов на "еврейский вопрос". Вы начинаете чувствовать в произведениях С. Юшкевича, посвященных отрицательным моментам распада и расслоения в еврейской жизни, следы своеобразного художественного полемизма. Вы как бы слышите автора, бросающего вызов всем, кто посягает на свободу его творчества: "Да, да, да — у нас есть и такие мерзавцы, и такие пакостники... Но не радуйтесь, вы, хищно оскаленные антисемиты, и не вешайте нос, вы, жмущиеся в сторонку печальники еврейского народа. Нашу свободу мы получим не в виде премии за добродетель, а как прочное, приращенное право каждого народа". Этот полемизм изобразительных средств С. Юшкевича, весьма возможно, отражался на произведениях, посвященных еврейству, избыточным сгущением красок. Когда приходится вести борьбу не только за признание факта фактом, но и за признание права на него, то, конечно, полемичная напряженность голоса становится неизбежной.

Семен Юшкевич ненавидел, презирал, бичевал, беспощадно высмеивал уродства морального и социального распада; он бил Дреев, Мельниковых, Штекеров по щекам, но не испытывал ни малейшего чувства стыда за них. Если ему было стыдно, то стыдно было не за еврея, а за человека. Вот он в "Комедии брака" рисует в приемной абортивного мага и чародея целый выводок дам общества, не весьма чтящих древнееврейский завет "плодитесь и размножайтесь", но весьма чтящих заветы Эраста и прелюбьи энергично сотворяющих. Все это выглядит ужасно стыдно, особенно со сцены. Если бы Юшкевичу было стыдно за еврея, он бы этих дамочек скрыл. Но так как Юшкевичу было стыдно за человека, он этих дамочек вывел на сцену в твердой уверенности, что хорошенько разберут, с кого он эти портреты пишет, не только соответствующие Абрамовны, но и соответствующие Ивановны.

Семен Юшкевич вообще был достаточно русским писателем, достаточно впитал в себя всю проблематику русской жизни, чтобы в своем творчестве, посвященном еврейской жизни, испытывать сильное влияние всего того, что тревожило нравственное и социальное сознание русской интеллигенции. Сложный закон двойного национально-культурного бытия русско-еврейской интеллигенции, а С. Юшкевич был одним из лучших ее представителей, приводил к тому, что глубоко еврейские типы и ситуации, очерченные притом своеобразной русской речью, русско-еврейским жаргоном Одессы, становились понятными и близкими массе чисто русских читателей, воодушевляли чисто русских актеров, чисто русских зрителей. При таких условиях никакого специфически национального стыда за изображенную С. Юшкевичем муть еврейской жизни у него быть не могло. "И о тебе сказка сказывается — не злорадствуй!" Это говорил Семен Юшкевич множеством своих произведений тому русскому читателю, который возымел бы намерение истолковать его произведения в духе националистической спекуляции.

Приходилось, однако, выдерживать борьбу на гораздо более опасном фронте. Замечательный факт истории русского еврейства — то обстоятельство, что С. Юшкевича обвиняли в... антисемитизме. Обвиняли... евреи. Нет более яркого свидетельства искренности еврейской жизни в России, искренности, созданной проклятым "еврейским вопросом", чем эти обвинения Юшкевича в антисемитизме. Это был тоже один из уродливых ответов, которые только и могут быть даны на уродливый вопрос.

Хотя Юшкевич очень болезненно воспринимал чудовищно несправедливое обвинение, объективно он был к этому подготовлен, оно входило в сферу его понимания еврейской жизни. Юшкевич сам не остановился перед тем, чтобы обрисовать ненависть, безразличие по отношению к еврейскому народу тех его сынов, которые на горбах и костях нещадно эксплуатировали еврейскую нищету построили свое жирное благополучие ("Король").

(Окончание на 15-й стр.)

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

ния? Неужели еврейский народ — такой глубоко несчастный, глубоко униженный и запуганный, что он уже не смеет иметь своих Гроссманов, Штекеров, Дреев, Дудек и многих других представителей человеческой пакости, ярко обрисованных С. Юшкевичем?

И вот Семен Юшкевич — первый в русской литературе — утверждает органическое, а следовательно — и дифференцированное представление о еврейском народе. В нем есть все те элементы моральной, духовной и социальной жизни и все те комбинации их, какие имеются и у других народов. Творчество Юшкевича направлено на то, чтобы утвердить это в сознании читателей. Галерея типов и образов еврейской жизни, созданная С. Юшкевичем, чрезвычайно богата. Амплитуда моральных, духовных и социальных колебаний в еврейском народе, вычерченная С. Юшкевичем, чрезвычайно велика. Контрасты резки. Линии четки. Еврейский народ потому народ, а не ублюдок этнографический, что в нем представлено все это разнообразие ситуаций во всем их безостановочном противоборствовании.

Это не было социально-экономической тезой. Это было художественной правдой. Освободившись от оглядки на друзей и врагов, Семен Юшкевич освободил себя как художника, а освободив себя как художника, мог нащупать подлинную действительность социально-экономического расслоения русского еврейства.

Тут надо было сказать ряд смелых, новых и "дерзких" вещей. От "субботного" еврея надо было перейти к еврею жестоких буден. От еврея местечкового гетто — к еврею той или иной социальной и классовой группировки. От еврея застойного ортодоксально-религиозного быта, замкнувшегося в духовной тюрьме окаменелых традиций, к еврею, стоящему с открытой грудью и даже непокрытой головой на жестоком, но закаляющем сквозняке разнообразных культурных, социальных и моральных влияний. Опытной, твердой рукой Семен Юшкевич стал выполнять эту не только художественно заманчивую, но и национально, исторически важную задачу. Он

кам, всем жертвам, всем конвульсиям городского котла — все же более прекрасной жизни, более достойной человека, чем прозябание в тихой, плесенью веков покрывшейся заводи мелко-местечковой ограниченности.

Для изучения истории развития русского еврейства за 30 лет произведения Семена Юшкевича — материал огромной ценности. Сложная духовная и социальная эволюция русского еврейства, скажем точнее — русского городского еврейства, документирована С. Юшкевичем рядом произведений, открывающих очень много всякому, кто умеет за образами, настроениями и художественно выраженными ситуациями улавливать мощные рычаги исторического развития. Поставьте рядом две пьесы С. Юшкевича, "Король" и "Мизерере": в первой вы почувствуете последние всплески революции 1905 г., а во второй — эпоху духовного и социального маразма, охватившего массы после жестокого поражения, после утвердившегося господства мстительной реакции. Семен Юшкевич показал наглядно, как эти и другие общероссийские линии исторического развития отражались на "еврейской улице", чем еще раз включил эту улицу в органически неразрывный процесс русской и одновременно еврейской истории.

Под талантливым пером еврейство стало у С. Юшкевича отливать всеми красками современного дифференцированного города. Это духовное и социальное расслоение, эту игру перекрещивающихся и противоборствующих сил внутри вероисповедного единства нужно утвердить как факт, рассеяв иллюзии национальной одностонности. Нужно показать еврейство в его живой динамике. Это художественно и общественно очень трудно, потому что в России с евреями или враждуют, или дружат — и нет еще равномерно, плавно протекающего, не обрывающегося ни к дружбе, ни к вражде сожителства. В России есть и чувствуется на каждом шагу "еврейский вопрос". А на дурачки, нелепо поставленный вопрос чрезвычайно трудно дать разумный ответ. Утверждать в такой атмосфере сознание моральной, духовной и социальной дифференцированности еврейского народа чрезвычайно трудно. Рискнешь на каждом шагу огорчить друзей и обрадовать врагов.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Денационализирующее влияние золотого тельца, ослабление национальной связи на почве усиления социальных антагонизмов, стремление забыть свое национальное прошлое, потому что оно было голодным, нищим и забытым, представление о единстве национальной жизни только как о единстве нищеты и рабства, охотно забываемое и презираемое, раз в ушах зазвенели упоительные мелодии золота — эту сторону социально-национального распада Семен Юшкевич рисовал с беспощадной прямотой.

Появились евреи, для которых самый звук их национального названия стал невыносимым напоминанием о злых корчах нищеты, преодоленных злыми корчами стяжательства и хищничества. Воспетый С. Юшкевичем "Дудька", благословляющий войну и революцию шелестом подкапливаемой им валюты, считает верхом своего не только телесного, но и духовного преуспеяния флирт с... христианкой. Что это, в самом деле, за убогость фантазии: все еврейки да еврейки! Надоело! Всякий дурак еврейский может взять еврейку. Но Дудька — не дурак. Дудька идет к миллиону. Миллион идет к Дудьке. Дудька купил картину самого знаменитого русского художника Ивана Репина. Дудька становится ужасно "интеллигентным", и вот ему рисуется идеал интеллигентности: поволочиться за христианкой. С повадками молодого грациозного бегемота он присаживается в кафе к столику, за которым сидит несомненная христианка, пыжится завоевать ее симпатии бранью по адресу евреек и узнает от своей любовной мишени, чистокровной одесской еврейской девицы, что он, Дудька, настоящий антисемит. Но когда Дудька дойдет до миллиона и миллион дойдет до Дудьки, то — нет никакого сомнения: Дудька таки влюбит в себя настоящую христианскую дамочку.

В легких, игривых, не претендующих на глубину художественного анализа сатирических эскизах С. Юшкевич все же уловил эту крайне характерную черту не столько ассимилированного, сколько жадно стремящегося ассимилироваться, но не ассимилирующегося представителя той породы преуспевающих людей еврейской улицы, которые в своей еврейской родне, в стихийно звучащей в их душонках еврейской бытовой напевности видят прямое препятствие к тому, чтобы стать совершенно порядочным "интеллигентным" человеком — человеком, который, усвоив тайны родительного падежа, станет совершенно не похожим на еврея (за исключением, впрочем, права жидовства и погрома). Семен Юшкевич хорошо знал этих человечков еврейской улицы, тяготившихся своим еврейским происхождением и — вопреки всем нутгам ассимилироваться — даже во флирте застревавших безнадежно в черте еврейской оседлости. С. Юшкевич хорошо знал этих новоскоробогачей еврейской улицы, которые стремились убежать с этой улицы, чтобы миновать неприятных встреч со всеми этими бедными, больными, бледными и измученными Хайками и Сурками, способными отравить всякое удовольствие жизни и так назойливо родственно лезущими целоваться, когда их положительно просят не беспокоиться.

Этот и многие другие "секреты" еврейской жизни Семен Юшкевич "выдавал" "им", неевреям. Надо ли удивляться, что нашлись люди, обвинившие Юшкевича в антисемитизме? Тут опять сказалась проклятая запуганность бесправия, мешавшая еврею быть прямым и смелым не только по отношению ко внешнему миру, но и по отношению к самому себе. Семен Юшкевич стал опасным. Правда, только для малодушных. Но, увы, малодушные — не самая незначительная часть всякого народа, а тем более — народа запуганного, народа бесправного. Здесь опять обнаружилось тяжелое давление на свободу правдивого художественного творчества. Сказать правду о слабом — бесконечно труднее, чем о сильном. Руку писателя дергали демоны вражды и страха перед нею. Чтобы рука не дрогнула, чтобы она служила делу добра, общечеловеческого и национального, делу чести, общечеловеческой и национальной, требовались громадная сила веры, громадная сила воли и громадная сила любви.

Семену Юшкевичу приходилось откликаться на настойчивые зовы этих трех сил. Любовь оказалась сильнее всего. Бывали тяжкие моменты в его жизни и творчестве, когда ослабевала воля и ослабевала вера. Наступали моменты мра-

ка. И тогда любовь приходила тем светом, который и во тьме светит. Мы знаем, что в эмиграции Семен Юшкевич бесконечно тяготился оторванностью от родины. Но эта тоска по родине не была отвлеченно-психологического характера. Нет, С. Юшкевич тосковал тоскою своего творчества по живым истокам, его питавшим. Ему нужна была вот эта еврейская масса не как вероисповедное единство (вероисповедное единство он мог находить и в эмиграции), а как единство страдания, быта, заботы и нужды в том своеобразном преломлении, какое давал крупный городской центр — Одесса. Ему нужна была Молдаванка: все эти улицы, люди, дома, власкавшие навеки в его душу, обласканные его добрым, улыбающимся взглядом.

Когда он прочитал одесские очерки Бабеля, то — помимо тех или иных чисто художественных оценок, которые могут быть спорными, — воспринял эти очерки с глубокой радостью: как привет от родной Молдаванки, от родных, любимых людей, таких близких, таких домашне-привычных. Две поездки С. Юшкевича в Америку были связаны не только с поисками выхода из материальной маеты эмиграции, но и с надеждой вновь припасть пересохшими в изгнании губами к живой для Юшкевича воде еврейского быта.

Этой надежде не суждено было сбыться. Американское еврейство представ-

созерцанию, по своему личному быту С. Юшкевич, конечно, был далек от того мира еврейства, который он описывал. Но знаменитый писатель Юшкевич, отправляясь в кабаки, трактиры, всякого рода зланные места, шатаясь в порту, на Молдаванке, на базарах, во всех местах, где толпились, шумели, любили и страдали его евреи, меньше всего был бесстрастно-чуждым наблюдателем, пришедшим на ловлю тем, типов, характеров для своей литературной мастерской, пришедшим инкогнито поглядеть да подсмотреть любопытные коленца, выкидываемые жизнью.

Нет, не для избыточных, сверхсметных раздражений бытия, а для приобщения к знаемому, любимому приходил сюда, как знаемый и любимый, Семен Юшкевич. Он любил эту толпу натруженных людей в их скупых, но буйных радостях, всегда просвечивавших слезой обильного, но тихого страдания. Среди острых социальных противоречий города, расколовших и раздробивших примитивное национальное единство мелко-местечкового "Голуса", он твердо, кровно, клятвенно избрал стан погибающих. В произведениях Семена Юшкевича, посвященных еврейской нищете, звучит постоянно глубочайшее чувство горячей заинтересованности чисто семейного, родового типа. Он пишет об этих людях так, точно живет с ними вместе одной большой семьей, и вот в доме его, на

больше, чем литература, или меньше, чем литература? Но я твердо знаю, что без учета этих особенностей "вопиющего" мироощущения С. Юшкевича в анализе формальных сторон его творчества не будет хватать чего-то весьма существенного.

Какой-то перепуг, какое-то тяжелое, болезненное недоумение легло на всю работу С. Юшкевича, посвященную малым сим, и уж до конца жизни своей он не мог от этих ядовитых игл избавиться. "В чем же ваше горе, господин Корзинщик?" — спрашивает в пьесе "Деньги" богач Штекер, собравший в своем доме еврейскую голь, чтобы для утешения своей и раздражения душ других богачей одарить ее медяками и гривенниками. А Корзинщик изумляется: "Как в чем? Спросите, в чем не? Во всем! Во мне и кругом. На улице и в домах"... "Спросите, в чем не?" Это очень смешная фраза. Нельзя не улыбаться, вслушиваясь в ее грамматически нелепый строй. Но в Юшкевиче было что-то от тягостного недоумения этого Корзинщика. Он тоже не знал, "в чем не". И глядел испуганными глазами на жизнь, и повторял про себя изумительный рефрен умирающего мальчика в рассказе "Невинные": "Об этом, мать, надо подумать, подумать".

Семен Юшкевич не был человеком политической мысли, оформленной политической воли. Не был Юшкевич и тем, что называется "борцом". Юшкевич никогда не ставил себе целью борьбу за еврейское равноправие и ничего не делал специально для разрешения "еврейского вопроса". И все же я думаю, что в трагической повести борьбы еврейского народа за свое освобождение имя Семена Юшкевича должно занять значительное и почетное место. Странно это как-то звучит в применении к такой своеобразной, такой сплетенной из хаотических элементов личности, как Семен Юшкевич, но это все-таки так: Семен Юшкевич утверждал в сознании масс своих читателей идею права. В применении к мучительной проблеме русского еврейства не было недостатка в идеях терпимости, гуманности, братства, любви, милосердия, прощения и т. д. Но расплывалось все это, не оставляя твердых осадков реальности. Потому что здесь все это чистое, благородное и прекрасное шло как-то вбок от твердого устойчивого центра, точно крылья птицы, тела не имеющей. Историческая и национальная заслуга Семена Юшкевича состоит в том, что он, бесконечно далекий от политической дидактики, от проповеднических настроений, всей своей трактовкой еврейской жизни, всем своим жизненным и литературным подходом к родному народу, всей своей свободой творчества, в муках ежедневно добываемой, неустанно создавал могущественную моральную опору для идеи и для чувства права.

И создавал ее не только в евреях, но и в русских. В нравственном сознании русского читателя утверждал неустанно еврея-человека, не нуждающегося ни в каких иных оправданиях для своих требований хлеба, света и свободы, кроме этого пребывания своего в человеках. Для русской освободительной традиции, питавшейся шаткими, расплывчатыми принципами поверхностного филосемитизма, Юшкевич поставил ряд серьезных задач усвоения элементов еврейской жизни во всем их разнообразии, а не в их тенденциозно пригласенном виде. Для этого Юшкевичу надо было завоевать себе место в русской литературе не в качестве эксперта или свидетеля по еврейским делам, а в качестве органического звена этой русской литературы. Для этого Юшкевичу надо было быть русским писателем. Для этого ему нужно было включить себя в тот неповторимо сложный, неповторимо трудный, но и неповторимо прекрасный клубок культурно-национальных взаимоотношений, который зовется русско-еврейской интеллигенцией.

Семен Юшкевич был героическим сыном этой интеллигенции. Это не героизм парадов, юбилеев, торжеств, не героизм маршей победных и маршей похоронных. Это героизм вечной думы, вечного страдания, вечных борений, всего того, над чем надо нам всем подумать, подумать, подумать... Додумать все это всегда было очень трудно.

Теперь — без Семена Юшкевича — это гораздо труднее...

Ст. ИВАНОВИЧ.
1935 г.

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

ляло новый мир, во многом глубоко отличный от мира тех евреев, которых голубил и ласкал в своей душе Семен Юшкевич. В Нью-Йорке он глядел на них любовно, восторгался неожиданными для него сторонами американизированного еврейского гения, но все это уже только со стороны, а не изнутри, как было в России. Известному еврейско-американскому журналисту Коральнику, заметившему этот любовный взгляд Семена Юшкевича, он говорил: "Если бы вы знали, как я их люблю". Это не было порывом сентиментализма, это было порывом тоски о... недоступном...

Из итогов еврейско-американских переживаний С. Юшкевича читатель найдет прелестный очерк "Америчка". Уже в одном том, что С. Юшкевич подслушал и художественно обрамил это бойкое словечко, в своей звуковой и грамматической оригинальности обнаруживающее целый мир новых культурно-национальных и социально-гражданских отношений, сказалось интимное сродство С. Юшкевича с еврейской массой. Он увидел своего русского еврея, преобразенного духом свободы, духом необузданной инициативы, свободной от давления традиций и предрассудков, возмужавшего за него, благословил его взором нежным и любовным, но слиться с этой еврейской "Америчкой", войти в нее он не мог. Для этого Семен Юшкевич был слишком русским интеллигентом, человеком традиций русского интеллигентского идеализма и социального радикализма. Эта волшебная "Америчка", вместо того чтобы стать второй родиной Семена Юшкевича, только еще больше надорвала его и без того надорванное сердце. Ибо —

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет; любовь одна.

Второй родины не было. Первой — тоже не было. Была одна любовь — и не было ее. Не было измены, но не было и любви, потому что любимые были далеко. Между тем Семен Юшкевич не был из тех художников, которые могли любить свой мир издали. По своему миро-

глазах его тот заболел, этот обнищал, третий умер, четвертый наложил на себя руки, другой пошел на преступление, другая вышла на улицу продавать себя... Поэтому и самый стиль Юшкевича становится в этих случаях надорванным, kloкочущим буйной неутешной скорбью, запальчиво отвергающим призывы к благоразумию, спокойствию.

Когда Юшкевич озаглавливает свое произведение "Наши сестры", то в этом названии жуткой повести из быта еврейской женской прислуги точно отражается бурное волнение чувства кровности. Это не призыв к чьей-то гуманности, чьей-то жалости: смотрите, ведь они наши... Не к третьим обращается Семен Юшкевич, а сам, на людей, никого не стеснясь, рыдает над ужасной долей этих женщин, точно это его сестры — его собственные, кровные — быстро по наклонной плоскости идут к проституции... А он от боли, от отчаяния кричит и проклинает. Русская литература знает много шедевров, посвященных изображению кошмарной доли проститутки. В этих произведениях много высокого чувства, много нравственного идеализма, одухотворенного отношением Христа к Магдалине. В произведениях С. Юшкевича, посвященных еврейской проституции ("Улица"), есть все эти элементы исконного идеализма русской литературной традиции. Но есть нечто и сверх того, только Юшкевичу присущее: такой натиск отчаяния и горя, точно сейчас вот кто-то прибежал к нему в дом и, взбодороженный, крикнул: она пошла в "дом", она заболела, ее избili "коты", ее арестовала полиция, она выпила сулемы! Она — его сестра...

Он реагирует на эти сообщения вестников печали и бездонного горя повестями и рассказами, но написаны эти повести и рассказы так, точно в пароксизме боли человек рассказывает себе-самому в дом друзьям и соседям, какое несчастье стряслось с его сестрой...

Я не специалист-критик и не знаю, хорошо ли так, в таком состоянии, писать повести и рассказы. Я знаю, что от человека, рыдающего над еще не остывшим трупом любимого, не добьешься толка, как и почему все это случилось, отчего умерший умер, не было ли тут какой-нибудь медицинской ошибки. Я не знаю, что это — такая "трактовка темы":

СКАЗ О НАС

**Универсальный
киносценарий
в прилагательных**

Дом кошкин. Князь Мышкин. Утро раннее. Сон суровый. Будильник чирикающий. Глазки рачьи. Шаг черепаший. Кашель лающий. Санузел совмещенный. Бачок урчащий. Зеркало кривое. Подбородок двойной. Одеколон тройной. Воспоминания смутные: "Застолье дружеское? Поведение свинское?" Вопрос риторический. Ответ однозначный. Замечание уместное. Холодильник пустой. Аппетит волчий. Завтрак легкий. Погода мерзкая. Холод собачий. Дождь проливной. Зонтик рыбкин. Троллейбус переполненный. Молвь людская. Топ конский. Уши ослиные. Глаз орлиный (орел двуглавый). Рык львиный. Зубы лошадиные. Клык моржовый. Слово меткое — дорога проторенная. Дом казенный. Подъезд парадный. Размышления праздные. Лестница мраморная. Вахтер сонный. Начальник тупой. Бухгалтер опытный. Секретарша многоопытная. Зарплата символическая. Работа любимая. Труд мартышкин. Беготня мышья. Перерыв обеденный. Переход подземный. Мечта заветная. Такси муниципальное. Уголок уютный. Уют валютный. Телка крутая. Бабочка ночная. Веер китайский. Ковер персидский (б\у). Коньяк французский (фальсифицированный?). Водка столичная. Килька томатная (отечественная!). Клюква развесистая. Музыка вечная. Озеро лебединое. Трели соловьиные. Язык птичий. Вальс собачий. Свадьба собачья. Режим постельный. Одеядло верблюжье. Прыжок затаенный. Кровать скрипучая. Страсть могучая, кипучая, никем неподбедимая. Счастье большое человеческое. Прощанье долгое. Дети кукушкины. Сыны сукины. Дочь капитанская. Слезы крокодильи. Друг верный. Верность лебединая. Услуга медвежья. Мерзавец редкий. Петух гамбургский. Измена коварная. Рога оленьи. Следы человечьи. Шкура овечья. Взгляд приветный. Удар ответный. Скандал каскетный. Печать офсетная. Пробуждение томительное. Время послеобеденное. Разочарование жестокое. (Шутка издевательская. Каламбур непристойный. Невинность оскорбленная.) Работа, любимая... Труд мартышкин. Беготня мышья. Бухгалтер опытный. Зарплата символическая. Начальник тупой. Вахтер сонный. Лестница мраморная. Троллейбус переполненный. Дорога проторенная. Одеколон тройной. Утро раннее...

Олег ГУБАРЬ.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**ТАЙНЫЙ ХОД
НЕ СКАЖУ, КУДА**

Мне безразлично, что вы думаете по поводу Сережи Шерстюка. Мне не все равно, что вы о нем вспомните.

Я не была ему другом. Мы встречались трижды. Каждая встреча была единственной. Во время последней Сережа подарил фотографию — за его спиной вырастал Одесский оперный театр. Прекрасный и разрушающийся. Вскидывалась пантера, и тень от лапы ее падала на Сережину плечо... Пантера замерла, тень удлинилась и достигла Нескучного сада, где я брожу по тропинке, на которой стоял на коленях Сережа и кормил белку. Белка все еще кормится с ладошек бродящих по дорожкам, а Сережи больше нет.

Он сказал тогда: запоминай — сверху рыжая, подпушка серая. Никогда не крась волосы — станешь похожа на белку. Я не хочу, чтобы ты была похожа. Я не люблю вертикальных. Ты втируша, медленная, но внезапная. Это всегда настраивает против, потому что последний удар ты наносишь безошибочно. И это предугадывается и... пугает.

На фотографии Сережа написал в том числе и "За свободу". Свобода начиналась справа от памятника Пушкину на Приморском бульваре. Это опять Одесса. Он говорил: "Это вопрос достоинства — я не хочу быть понятым. Я предпочитаю память, а не понимание. Меня Одесса знает. И в Одессе есть кому — не забыть меня. Я сюда приезжал не к тебе."

Но ты пересекла все мои дороги трижды, и это неспроста. Говори, чего тебе надо, что хочешь узнать, увидеть, понять. Хочешь, подарю картину? Хочешь, тебя нарисую? Почему ты ничего не хочешь, женщины всегда хотят. Хотя — разве ты женщина? В тебе помещается город, и есть еще место — для чего ты так жадно заглатываешь жизнь? Я не знаю, как с тобой разговаривать. Не загоняй меня в тупик.

Здесь, у вас, женщины ничего не хотят, меня не хотят. Зачем ты смотришь, как я топчусь и ввязу сам у себя на зубак? Я ее видеть больше не могу. Не хочу. Не буду.

Возьмешь билет — на, держи, завтра уедем в Киев. От этой женщины уедем. Она меня с ума сводит. Я из-за нее много чего сделал. Но и не сделаю никогда не меньше...

Когда шли по Андреевскому спуску, Сережа сказал, что рано или поздно восстановят Михайловский монастырь. И тогда мы сумеем заказать молебен за заблудшие души.

— У меня много заблудших душ за пазухой, — странно говорил Сережа. — И только ты — душа свободная, без принуждения хотящая радоваться и быть счастливой. Я таких девчонок не видел отродясь. Наверное, ты мутантка. Они тебя никогда не полюбят.

И я тебя не полюблю — разве можно любить того, кто не имеет имени? Ольга — не имя. Свя-та-я. Разве можно так называть женщину? Хотя — какая ты женщина? Ты встреча, которая никогда не повторяется. Она всегда заново. Всегда сначала. И это ужасно, что смерть придет и мы не узнаем, что уже все, никогда не будет опять и снова...

Это, может быть, и хорошо, потому что нет ее, мы есть, а смерти нет, и ты не бойся. Когда я умру, ты узнаешь и не удивишься, потому что я уйду первым.

Ты — тайна, ты — та дверь, в которую входят один раз и — никогда не выходят. И всякий раз надо выходить заново.

Где ты бываешь, когда меня нет возле? Кто притрагивается к ручке на твоей двери, и что ты делаешь с ним, приоткрывающим, просачивающимся в твои комнаты, дворы, переходы, подвалы, кто и зачем свешивается с твоих балконов, и зачем доходит до чердака?... Куда им — выше... Чем они заканчивают, если никогда не выходят через ту дверь, в которую ты позволила войти? Почему ты приехала в Москву и ждешь меня на Страдном, я не мог тебя не почувствовать. Ну вот, я пришел. Куда теперь?

— Какого черта, — сказал Сережа милиционеру, — какого черта ты на нее смотришь? Пусть плавает, где хочет. А почему не в фонтане — такая жара...

Ну и что, что голая, она не голая, она обнаженная. И это прекрасно. И она хороша. Ольга, покажись этому мудаку. Да я не выражаюсь, я — выражаю. Идею. Женщина купается в фонтане. Мужчины смотрят и запоминают. Это их мужиками и делает. А ты что, денег за это хочешь? На, столько — достаточно?

Ольга, плыви к другому краю, я подойду. И он подошел с платьем и букетом ромашек. — Откуда, — спрашиваю, — ромашки? ...Долго шли по ботаническому саду. Отдыхали в кустах:

— О, я — подзаборная, а ты — толстый и довольный!

— Я — толстый? Ты пощупай — где жир? Это одесское восприятие, это у вас все толстые, ты посмотри, как я узок, — и Сережа погладил джинсы, будто крошки стряхнул. — Я голубой джинсовый парниша, у меня узлы на пальцах — как у тебя на платочке. О чем забыть боишься, зачем узелки, — и он развязал два...

В первый узелок был завязан перстенок, он купил его для меня на "Привоже", надел на палец, покрутил и сказал:

— Ничего, пока великоват, потом впору будет.

Во втором узелке лежала сережка. Оставшаяся. Первую мы с ним так и не нашли в траве.

...Тогда одуряюще пахла сирень, скатывавшаяся волнами в Днепр со склонов Киевского ботанического... Мы всегда оказывались в ботаническом — и в Одессе, и в Киеве, и в Москве... Все ботанические сады были нашими.

Еще были Нескучный сад в Москве и Городской сад, мимо него бежала Дерибасовская, на ней Сережа учил меня танцевать вальс бостон:

— И раз-два-три, и раз-два-три...

Потом сказал, что не понимает разницы между вальсом и вальсом бостоном.

Потом еще было... твист на ротонде в Горсаду, и шейковали в кафе "Молодежное", и Дерибасовская нас не отпускала, а потом обнаружили на Ланжероне — купались прямо в чем были: он заджинсованный, а я в платье выходном — и на нас, как на сумасшедших, смотрели.

Вечером грелись в "Оксамите Украины" сухим красным, и Сережа говорил, что глобализм победит не только в искусстве, что грянет кровь и великое молчание. И что:

— Твои мужья никогда не найдут общего языка, потому что у вас общие дети и жизнь общая, зачем еще что-то, общий язык нужен тем, кому есть что делить, а вам делить нечего. Не тебя же и детей. Ты научись спокойствию, остальное у тебя есть. А то, что будет, от тебя уже не зависит, будущее ты себе уже обеспечила признанием.

— Каким? — спросила оторопело.

— Дура, — мрачно сказал Шерстюк. — Это дорого стоит: "А я дыханье. И любовь. И вечный праздник".

— Сколько? — так же мрачно спросила.

Он выгреб из кармана деньги, высыпал мне в подол и, покрутив у виска пальцем, положил туда же свой паспорт.

Он был единственным мужчиной на свете, поднявшим меня на руках по 192 ступенькам Потемкинской лестницы, не передохнув, и присел на ступеньки памятника Дюку, так и не выпустив меня из рук. Ему аплодировали.

И я не поцеловала его.

Еще я могу сказать, что кольцо и фотография лежат где ни попадя, потому что я люблю смотреть на них и трогать. Но я никогда ни с кем не говорила о Сереже. Я была его "Тайным ходом не скажу, куда", и то, что я написала, это подарок Сереже на его посмертное пятидесятилетие.

21 декабря 2001 г. Москва.

ЖИВУ СПОКОЙНО

А началось знакомство с Сережей смешно... Я возвращалась со встречи с Юнной Мориц. Она отредактировала мою рукопись, и вот я купила бутылку сухого красного, сухие бананы и на Страдном бульваре сидела на скамеечке с Володей Салимоном. Мы обмывали мою рукопись, потому что отредактировано было совсем ничего, но очень "по делу" — просто вычеркнуты некоторые строчки, просто зачеркнуты некоторые стихи. Ножницами что-то вырезано. И — несколько новых строчек предложено взамен... Это был здоровый результат. Я думаю, мне очень повезло. И я тогда гордилась этим. Собственно, я и сейчас так отношусь — с гордостью и благодарностью, меня многому Юнна Петровна научила.

Когда я решала, к кому из теток — Позтов — идти, написала письмо Ахмадулиной, но не отправила его и позвонила Мориц. Решила, что по моему характеру — идти надо к Юнне. Да и по ее характеру, как поз-

же выяснилось. Ну, я тоже была тетка, мне уже 36 случилось...

Она спросила не без иронии, узнав, сколько мне лет:

— И много написали?

— 16 килограммов, — ответила.

Юнна Петровна велела взять 250 граммов и пойти к семи вечера. Но я потеряла адрес и — Лидия Графова мне помогла, дала телефон — опоздала на полтора часа. Была в ужасе — жутко не люблю опаздывать. Да еще — к МОРИЦ!

Ну, это другая история. Так вот, сидим мы с Салимоном, а у него еще свеженькая писательская ксива, он мне ее показывает, мы и ее обмываем. И тут прямо перед нами торчит ментовский бобик. Времена сухого закона... Салимона — в машину. Мне тоже надо в машину, но, вроде бы, я им не очень нужна, милиционерам. И я на это обиделась. Даже ментам не нужна. В этой их Москве.

Подхожу я к водителю, засовываю голову в окошко и на ухо ему кой-чего говорю. Он хмыкает и... отпускает Володю. А мне в ответ:

— Ты уведи его, ну, вот там есть подворотня, а во дворе — столик для доминошников, так вы там и договорите, с глаз подальше!

И — уезжают.

— Ты что ему сказала?

— А, — отвечаю, — потом как-нибудь расскажу.

Смотрю, а полбутылки еще есть, только пролилось чуть-чуть на правки Юнны Морицевские, и стихи теперь "под градусом", и подпись ее размашистая — пьяная!

— Ладно, — говорит Салимон, — здесь недалеко Шерстюка мастерская, зайдем — расскажем.

Заходим. Там, по-моему, два окна было. Не помню. И огромные картины — одна свежая, в работе, что-то коричнево-синее. А на мне платьице, специально для "представительства" в одесской комиссии купленное, чудное такое. Почти новенькое. Ну, мы знакомимся, ля-ля-тополя, Салимон рассказывает, как я его из "бобика" ментовского вытащила, и они оба:

— Что ты ему сказала?!

А мне влом...

И тут Сергей меня в моем платьице всей мною — вписал в картину. Со спины. А потом развернул и — мордой лица — туда же.

Получилось что-то невообразимое — и на картине, и — вся я — сплошная такая "глобалистка" (он тогда глобалистом себя называл и все под таким углом рассматривал. Я от него о глобализме и узнала. А тогда об этом ничего почти и не говорили, ну, он о глобализме в искусстве, а не о политике...). И получилось, словно меня из его шедевра вырезали.

Я таки уперлась, разозлилась, сказала — нечего меня теперь вытирать (это он меня тряпкой, вонючим растворителем пытался!), я теперь — произведение искусства, так и буду ходить по Москве.

Так весь день и проходила — коричнево-голубой. А ночевала я в его мастерской, он меня оставил и ушел.

Утром просыпаюсь, а он уже хлопчет, кофе готовит. На стуле лежит новое платье. Роскошное. И — билет в Одессу. На самолет. А моего "шедевра" платья нет.

— Гад, — говорю вежливо и холодно, — мое платье где? Верни!

Отвечает:

— Увы, я им тебя с картины смыл. Ты мне там не понравилась. Примерь лучше новое, и шевелись, кофеечек готов!

Платье оказалось тюльетка в тюльетку.

— Это как же у тебя получилось?

А Сережа обиженно:

— Ты что, не понимаешь? У меня же глазомер! Я — профессионал!

Пьем кофе...

— Зачем мне улетать, — возмущаюсь, — я еще не все сделала в Москве.

— Вали, — говорит, — и поскорей. А то вообще никто ничего не сделает. Ни ты, ни я. И — чтобы я тебя вообще больше никогда, поняла?

— А почему?

— А потому, — говорит, — что мне Одессы — выше крыши. Так что лети, Белка, и живи спокойно.

(Сережа меня или Ольгой, или Белкой называл.) И проводил он меня во Внуково, и рассказал мне три бочки арестантов — за жизнь свою, мою и — нашу. Какой она теперь станет. И ведь правду сказал — жизнь стала такой. Нашей. Но об этом я уже раньше написала. Осталась еще одна встреча.

Когда-нибудь... и ее расскажу, там история спасения Салимона от ментов отыграла на всю катушку. Только... раскатушилась катушка очень скоро. Страшно раскатушилась.

20 января 2003 г.

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ. Коммерческий директор Леонид РУКМАН.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы. Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка: компьютерный центр ТИА «Вікна-Одеса» (тел. 23-13-60).

Регистрационное свидетельство N 508. Тираж 1000. Заказ N... газета отпечатана в типографии «СІЧ».

Адрес редакции: 65014, Одесса, ул. Маразлиевская, 7. Тел. 724-01-35. www.odessitclub.org.